

ლიტერატურა

გუჯარატი



1975

# Литературная Грузия

Ежемесячный  
литературно-художественный  
и  
общественно-политический  
журнал



Орган Союза писателей Грузии

9

СЕНТЯБРЬ

19 Издательство 75  
ЦК КП Грузии





ეროვნული  
პენსიონირთა  
კავშირი

# «ლიტერატურული გრუზია»

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს ლიტერატურულ-მხატვრული  
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

წელწალი მე-19

№ 9

სექტემბერი 1975 წ.

საქართველოს საზოგადოებრივი კავშირის ორგანო

Главный редактор

**Георгий ЦИЦИШВИЛИ**

Редакционная

коллегия:

**Тенгиз БУАЧИДЗЕ,**

**Гиви ЖВАНИЯ,**

**Марк ЗЛАТКИН,**

**Исидор КОЗАЕВ,**

**Георгий ЛОМИДZE,**

**Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,**

**Владимир МАЧАВАРИАНИ,**

**Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,**

**Гурам ХАРАИДZE**

(заместитель главного  
редактора),

**Владимир ХОМУТОВ**

(ответственный секретарь),

**Эммануил ФЕЙГИН.**

*Год издания*

**19-й**

## **АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

380008, ТБИЛИСИ, ул. ЛЕНИНА, 5.

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора —

93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

## **ОТДЕЛЫ:**

Отдел прозы и очерка  
(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) —

93-31-43

Отдел поэзии и искусства  
(редактор ЗИНИНА В. Б.) — 93-31-43

Отдел критики и публицистики  
(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) —

93-65-19

*Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.*

Технический редактор Макалатия Г. Н.

Корректор Гургенидзе Л. В.

© «Литературная Грузия», 1975 г.

# Содержание:

## ПОЭЗИЯ

- ЗАУР БОЛКВАДЗЕ. Горячее сердце. Это было вой-  
ной для меня! «Шел я недавно к друзьям...», Ба-  
бочка. Перевод Николая Голя . . . . . 5
- АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ. Дождь в Тбилиси. «Ты, что  
бабочкой черной и белой...», «Я боюсь, что слиш-  
ком поздно...» . . . . . 6
- ШАЛВА ҚАРМЭЛИ. Когда то было? Джейраны на  
пейзажах. Автопортрет в профиль. Перевод Ирэ-  
ны Сергеевой . . . . . 7

## ПРОЗА

- ОТАР ЧХЕИДЗЕ. Тени. Роман. Окончание. Перевод  
Лили Баазовой . . . . . 9
- АЛЕКСАНДР КАЛАНДАДЗЕ. Водоворот. Роман. Пе-  
ревод Маргариты Гржендзица . . . . . 19

## ОЧЕРК

- ЛЕОНИД РОСТОВЦЕВ. Увлеченные . . . . . 39

## КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Он говорил о любви тихо  
и доверительно.. . . . . 46
- АНАИДА БЕСТАВАШВИЛИ. «Поэзии физическая мощь...» 52
- РЕВАЗ БАРАМИДЗЕ. Превыше всего! . . . . . 58

## ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- КОЛАУ НАДИРАДЗЕ. Друг, которого не забыть... . . . 8
- МИКОЛА ХВЕДОРОВИЧ. Слав драгоценный... . . . 64



## ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭСТЕТИКИ

- ПЕТРЭ ШАРИА. К критике иррационалистического  
понимания природы художественного творчества 72

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

- АРЧИЛ ХОТИВАРИ. Популяризатор немецкой лите-  
ратуры . . . . . 85

## ПАМЯТИ КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

- ГЕОРГИИ ДЖИБЛАДЗЕ. Большой художник , . 81  
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Навеки в памяти народной . . 83  
ИРАКЛИИ АБАШИДЗЕ. Благодарность потомков . . 83  
СЕРГО КЛДИАШВИЛИ. Тяжелая, невосполнимая  
утрата . . . . . 84  
ЭЛГУДЖА МАГРАДЗЕ. Властитель дум . . . 84  
ГЕОРГИИ НАТРОШВИЛИ. Прощальное слово . . 84

## В МИРЕ КНИГ

- ЛИНА ХИХАДЗЕ. Тема Кавказа в творчестве Пушкина 90  
ДАВИД КОБИДЗЕ. Жанровая характеристика лиге-  
ратурных памятников . . . . . 93  
Книжные новинки . . . . . 95

Заур БОЛКВАДЗЕ

## Горячее сердце

Небо и недра,  
Море и суша —  
Наши владения,  
Наша забота.  
Пламенем Данко  
Вспыхнули души,  
Сердце горячее  
Живо работой.

Суть нашей силы —  
Не бомбы и пушки,  
Но единенье  
Многих и многих.  
Пламенем Данко  
Вспыхнули души,

Сердце горячее  
Торит дороги.

Трудно бывает  
Смело идущим.  
Труд и борьба —  
И не надо покоя!  
Пламенем Данко  
Вспыхнули души,  
Сердце горячее  
Новое строит.

Мыслью сильнейших,  
Памятью лучших  
Вскормлены наши

Мечты и идеи.  
Пламенем Данко  
Вспыхнули души,  
Сердце горячее  
Сумрак согреет.

Встретим преграду —  
Преграду разрушим  
Общим усилием  
Зрелых и юных.  
Пламенем Данко  
Вспыхнули души,  
Сердце горячее  
Вступит в коммуноу!

## Это было войной для меня!

Война похитила папу.  
Во сне испуганно дышим.  
Дома — бедная мама  
И пятеро нас, детишек.  
Нет давно керосина.  
Во мраке — худые лица.  
Проданная корова.  
Одолженная мучица.  
Мельница на запоре  
(Нет муки для помола).  
Зимой снегопад и холод,  
И — далеко до школы.  
...Как извелась наша мама!..  
Но дети сыты хотя бы..  
Папе — посылка фруктов.

С фронта — письмо от папы.  
Грустная-грустная мама.  
Печальные глаза детишек.  
Мало простого хлеба.  
Работы и ртов — излишек.  
Папа в мороз в окопе  
В своей гимнастерке тонкой..  
На фронт — носки и фуфайки.  
С фронта — крик «похоронки».  
Траурная деревня.  
Траурные деревья.  
В трауре окна и крыши.  
Мамино сердце больное..  
Для меня, для мальчишки,  
Это и было войною.

ё \* \*

Шел я недавно к друзьям  
и не ведал:  
Будет злословью застолье доверено.  
Ядом для сердца  
стала беседа,  
Дружба иссякла,  
вера потеряна...

Но раздвигаю мрачные шторы!  
Мир изменило солнце всходящее.  
Радостно в жизнь я вступаю,  
в которой  
Дружба встречает тебя настоящая!

## Бабочка

За день  
короткий век ее угас,  
Но жизни шлет она благодаренья!..  
Вославим жизнь!  
Ведь вечен каждый час,  
Неповторимо  
каждое мгновенье!

Перевод Николая ГОЛЯ





## Дождь в Тбилиси

Мне твой город нерусский  
Все еще незнаком —  
Клен под мелким дождем,  
Переулочек твой узкий,

Под холодным дождем  
Слишком яркие фары,  
Бесприветные пары  
В переулочке твоём,

По крутым тротуарам  
Бесконечный подъем.  
Затерялся твой дом  
В этом городе старом.

Бесконечный подъем,  
Бесконечные спуски,

Разговор не по-русски  
У меня за плечом.

Сеет дождь из тумана,  
Капли падают с крыш.  
Ты, наверное, спишь,  
В белом спишь, Кетевана?

В переулочке твоём  
В этот час непогожий  
Я — случайный прохожий  
Под холодным дождем,

В этот час непогожий,  
В час, покорный судьбе,  
На тоску по тебе  
Чем-то странно похожий.

1945

\* \* \*

Ты, что бабочкой черной и белой  
Не по-нашему дико и смело  
И в мое залетела жильё,  
Не колдуй надо мною, не делай  
Горше горького сердца мое.

Чернота, окрыленная светом,  
Та же черная верность обетам  
И платок, ниспадающий с плеч.  
А еще в трепетании этом  
Тот же яд и грузинская речь.

\* \* \*

Я боюсь, что слишком поздно  
Стало сниться счастье мне.  
Я боюсь, что слишком поздно  
Потянулся я к беззвездной  
И чужой твоей стране.

Смотрят в эти роковые,  
Слишком темные зрачки.

Мне-то ведомо, какую —  
Ночью темной, без огня,  
Мне-то ведомо, какую  
Неспокойной, молодою  
Ты бываешь без меня.

И в моей ночи ревнивой  
Каблучки твои стучат,  
И в моей ночи ревнивой  
Над тобою дышит диво —  
Первых оттепелей чад.

Я-то знаю, как другие,  
В поздний час моей тоски,  
Я-то знаю, как другие

Был и я когда-то молод.  
Ты пришла из тех ночей.  
Был и я когда-то молод,  
Мне понятен душный холод,  
Вешний лед в крови твоей.









## Автопортрет в профиль

Я потерял фамилию и не найду отныне.  
Выбрал другое имя, редкое и мл

Скажут, что я пустынный, Мцыри — и  
Грузия, Кутаиси — это моя пустыня.

Я от гашиша безумный Кайс, мне Лейла

Но о слепой инфанте плачу в земном

Ветер по мертвым странам призраки

Выйдет Таис — отшельница, молебны

Плащ Мефистофеля взвею, выпущу  
чтобы всегда поэзии следовать

В ней я, Кармэли, скроюсь, как в  
Я среди сожженных арабов солнечным

Знаю: могу гордиться — тайно и явно

В рифме стихов грузинских богатство я

1920

Перевод Ирэны СЕРГЕЕВОЙ

## ДРУГ, КОТОРОГО НЕ ЗАБЫТЬ...

**О**ДНАЖДЫ к нам, «голубороговцам»,  
пришел юноша, почти ребенок. Дет-  
ское выражение его лицу придавали  
необычайно красивые глаза — глаза сер-  
ны! — так я их казвал впоследствии. Весь  
облик пришедшего выдавал в нем поэта.  
Это было настолько очевидным, что мы  
сразу же попросили его прочитать свои  
стихи.

В том, как Шалва Кармэли говорил, как  
читал стихи, чувствовалась сдержанная  
взволнованность. Валериан Гаприндашвили,  
Сандро Цирекидзе и я, словно сговорив-  
шись, просили его читать еще и еще, что-  
бы вновь слышать этот голос. И он читал  
стихи просто, естественно, без ложного  
декламационного пафоса. Поэтической при-  
роде Шалвы совершенно чужды были вуль-  
гарность и банальность — обычные спутни-  
ки бездарности и безвкусицы.

Очень скоро Шалва Кармэли стал на-  
шим любимым другом. Он был слаб фи-  
зически и потому, подобно Сандро Циреки-  
дзе, держался несколько в стороне от так  
называемой «боевой жизни». Зато в  
семьях Паоло Яшвили, Валериана Гаприн-  
дашвили и моей он был частым гостем и  
не раз пил домашнее вино из небольшого,  
специально ему предназначенного рога.

В Кутаиси часто можно было встретить  
Шалву Кармэли, Сандро Цирекидзе и Сер-  
го Кджиашвили. Они любили гулять вместе.  
Поистине отцовскую заботу и внимание

проявлял к Шалве Паоло Яшвили. Не раз  
он просил нас (особенно Р. Гветадзе и  
И. Кишани) всячески помогать Шалве.

Кутаисский период «голубороговцев» не-  
разрывно связан с именем Шалвы Кармэ-  
ли. Насколько мне помнится, именно здесь,  
в Кутаиси, прочел он свое прекрасное сти-  
хотворение, в котором были такие строки:

Повисли с небес  
Сады Семирамиды,  
Сердце у меня крохотное,  
А боль огромная — с гору.

(Подстрочный перевод)

Вместе с другими моими товарищами,  
если не ошибаюсь, в 1918 — 1919 гг. Шал-  
ва Кармэли переехал в Тбилиси, чтобы  
продолжить учебу в университете. К со-  
жалению, в Тбилиси мы встречались уже  
реже... А в январе 1923 года Шалвы Кар-  
мэли не стало. В Кутаиси, чтобы простить-  
ся с ним, прибыли его друзья. Он был пер-  
вым цветком, вырванным из нашей среды  
безжалостной рукой смерти...

Судьба не угодила Шалве Кармэли  
успеха. Он не успел созреть и возмужать  
как поэт — слишком рано умер. Я же, ду-  
мая о Шалве Кармэли, почему-то вспоми-  
наю всегда повесть Льва Толстого «Хад-  
жи-Мурат». Перед глазами встает сбитый  
колесом телеги, безжалостно раздавлен-  
ный чудесный малиновый цветок репея...

Колау НАДИРАДЗЕ

# ТЕНИ

●  
Р о м а н  
●

XX

Бибо чуть не выломал дверь. Он не желал ждать — звонил, молотил кулаками. Этери ждала его радостным, ликующим — знала, что должно было состояться совещание, из тех, что ему по духу, какие всегда приводили его в доброе расположение, которое он и приносил с собой домой. Но дверь гроыхала, ее рука уже лежала на задвижке, но она завозилась и никак не могла открыть, теряясь меж тем в догадках, что бы такое могло случиться. Ей мешал сосредоточиться и этот непрерывный грохот, и несмолкаемое дребезжание звонка, и шумное дыхание за дверью. Но наконец-таки она распахнула дверь и, окинув мужа быстрым взглядом, не ожидая его, быстро пошла в свою комнату. Там она могла успеть подумать, подготовиться, чтобы встретить его во всеоружии. Она успела только сесть на тахту, поджав ноги, и, прислонившись плечом к стене, прикрыть веки, чтобы подумать. И тут Бибо влетел в комнату, хотя она и там, в дверях, уже успела мельком разглядеть его лицо из-под опущенных век — чужое, искаженное лицо. Доводилось ли ей когда-нибудь видеть его с таким искаженным, почти безумным лицом, а если да, то когда, при каких обстоятельствах? И она вспомнила — такое же лицо она видела у него, когда ему впервые наговорили на нее, в ту самую ночь, когда она убежала в одном платье. Но нет, такого разъяренного лица у него и тогда не было, а теперь он и вправду, наверное, был способен убить, окажись у него в руках оружие. А может, он уже убил и пришел теперь ей сообщить — все, мол, конец моим мучениям.

— Вот до чего мы докатились!..

Слова его звучат громко и отчетливо — видимо, этот вывод. Это заключительный аккорд того сиплого, прерывистого дыхания, которое до сих пор вылетало из его груди.

— Ты сам докатился! — едва слышно говорит она.

— Что ты сказала?

— Какое это имеет значение?

Окончание. Начало в №№ 6, 7, 8.





— Как это не имеет?

— Не имеет, — уже громче говорит Этери. — Если бы имело, ты повзри бы мне и не дошел бы до такого состояния.

— До какого? Посмотри мне в глаза!

— Ты сам докатился, говорю я...

— Посмотри на меня...

— Я тебя и так вижу!

— Посмотри, говорю тебе, на меня!.. — голос его звучит хрипло. Ресницы Этери заметно дрожат.

— Видишь, он плеснул мне в лицо кофе!..

Этери ничего не видит и не хочет видеть, ее полуприкрытые ресницы дрожат. Но только приподними их она слегка, и ей не трудно было бы различить темные пятна на его груди, хотя официанты и помогли ему обмыться, привести в порядок рубашку. Пятна все же остались.

— На совещании пили кофе? — спрашивает Этери.

— Шампанское! — желчно восклицает Бибо.

— Откуда же кофе появилось? — без улыбки снова спрашивает Этери так, словно и кофе-де и шампанское — все это, в общем, вполне допустимо, и теперь уже поднимает на него глаза.

— Брось! — ярится Бибо. — Не время шутки шутить!

— Я серьезно спрашиваю...

— По наивности, да?

— Сядь! — не дрогнув бровью, говорит Этери. — Соберись с умом и, если хочешь мне что-нибудь сказать, говори членораздельно, а нет — так постарайся сначала прийти в себя. Успеется, поговорим, когда успокоишься.

— Говорить не о чем, — Бибо несколько отступает, но не садится. — Для меня уже все ясно, только обидно, горько.

— Для тебя все неясно, но не будем говорить об этом. Скажи только, почему тебе обидно, сорви на мне свой гнев, если я на самом деле его заслужила, и... оставь меня в покое. Если ты не желаешь брать себя в руки, то дай хоть мне успокоиться.

— Я хочу успокоиться и хочу, чтобы ты тоже успокоилась. Мне только этого и надо...

— Так успокоимся?

— Легко сказать!

Этери свесила с тахты ноги и, оперевшись локтями в колени, погрузила лицо в ладони. Одно лишь движение — превосходная натура для рисунка, лепки, а прежде — живописного этюда; художник не прошел бы мимо этого, даже если бы и очень был взбудоражен, да, не прошел бы. Но Бибо ничего не видит, возможно, от безмерного возмущения, а возможно...

— Так где это случилось?

— В кафе.

— После собрания?

— После собрания.

— И что же ты ему такого сказал, что...

— То, что должен был сказать!..

— Почему ты сделал это?!

— Не все же мне одному страдать!

— Но он-то при чем?

— А кто же тогда?

— В отдельности никто...

— Так кто же?..

— И ни все вместе...

— Кто?

— Что-то другое... Что-то вне нас, тень какая-то, страх смерти.

— Ах! Нашла объяснение!.. Кто это боится смерти? Во всяком случае, не я!

— Ну конечно! Пока ты есть, смерти не будет, а когда тебя не станет, и страха у тебя никакого не будет. Но я говорю о другом страхе, о том, что ты боишься, как бы кто-то у тебя не отобрал бессмертия.

— А ты высоко хватила! Он, между прочим, тоже говорил об абсолютной Красоте, но я выложил ему все, что думал, я сказал, что эту Красоту он сделал ширмой для прикрытия своей низости.

— О, как ты низок духом!

— Я низок духом?

— Ты, и еще кое-кто другой. Но здесь из них только ты! — Этери поднимается; на журнальном столике лежит коробка сигарет — когда еще они остались после тети Саломэ и так и лежат, пепельница там же, и спички. Она



берет их, и это движение ее тоже прекрасно, грациозно, и оно для живописца: голова чуть повернута вбок, на лице ни удивления, ни гнева: вокруг него малодушных, и он такой же, как и все они, или даже хуже; а возможно, он просто грешник, и ничего больше. Она вытаскивает сигарету, чаркает спичкой и неловко берет сигарету в рот, как-то неловко зажигает ее и после первой же затяжки заходитесь в кашле; курильщица она не ахти какая и теперь в ней уже нет ничего от искусства; окутанная дымом, она держится в кашле, и все линии ломаются, искажаются, мешаются друг с другом — искусство исчезает. Но ей было очень горько и надо было заглушить эту горечь новой горечью, потому она и затянулась, а потом еще и еще раз, и еще хуже закашлявшись, бросила наконец сигарету, а бросив, застыла там же, у журнального столика. И снова будто бы снизошла с самих небес, и снова явилось Искусство.

— Я только жертва... — говорит Бибо в знак протеста.  
 — Своей же собственной бесхарактерности.  
 — Измены...  
 — Ложь, говорю я тебе, и тысячу раз уже говорила...  
 — Разве женщину можно верить? — роняет он каким-то чужим голосом, словно только что от кого-то это услышал и тут же повторяет.  
 — Кто это внушил тебе?  
 — Я сам говорю!  
 — Неправда, тебе это внушили. Ты всегда верил правде, ты всегда мне верил.

— Пока ты была чиста!  
 — Я была чиста и остаюсь такой...  
 — У меня есть доказательства...  
 — Ложные... ты знаешь...  
 — О, как прекрасно я все знаю... — Бибо снова произносит это каким-то не своим голосом, но это уже не похоже на внушенное, а скорее напоминает голос со сцены. — О, как великолепно я знаю! О, какие восхитительные вещи я знаю! И еще кое-что знаю...

— Такое же замечательное? — язвительно смеется Этери.  
 — Да, такое же! — вскрикивает Бибо. — Когда его «Женщину» вышвырнули с выставки, женщина же помогла ему остудить лоб коджорским ветерком, утешила по дороге...

— Бред...  
 — Это я-то брежу?  
 — Ты или кто другой — все равно! Бред! Я там не была, а в последнее время и в глаза его не видела. А хоть бы и видела, ты ведь не можешь мне запретить видеться с родственниками. Или, может, запретишь? Может, мужу и на это даны права?

— Я только честь семьи защищаю!  
 — Честь твоей семьи чиста, как стеклышко, тверда, непоколебима. И не толкай меня...

— Ой ли?..  
 — Не повторяй! — восклицает Этери и, прикрыв глаза, качает головой; ее пушистые волосы становятся еще пушистее, она становится еще красивее, еще обворожительнее, каждое мгновение она меняется, становясь все более пленительной.

— Хотя нет, повтори, повтори... — И она глядит на него насмешливо, широко распахнутыми глазами. — Повтори, в твоем голосе мне послышались какие-то знакомые ноты, повтори же, чтобы я уверилась, что не ошибаюсь.

— Ну и кто же «он»? — злится Бибо.  
 — Тот, кто дурачит тебя!  
 — Кто же это меня дурачит?  
 — Тот, кто дурачит... Ты ведь это с чужого голоса все говоришь. Повтори и прислушайся, тогда ты и сам поймешь, что с тобой делается, сам разберешься в своем состоянии. Мне уже нет смысла больше ничего тебе говорить! Ты сам поймешь!

— Я знаю, что со мной...  
 — Нет, не знаешь!  
 — А я говорю, знаю! — кричит Бибо, и голос его звоном отдается в хрустальной вазе, и хрустальные подвески тоже звенят на люстре.

— Нет, ты ничего не знаешь, поверь мне! Только, что бы там ни было, — говори потише, — почти шепчет Этери, — ужаснее того, что ты сказал, ты ведь уже ничего не скажешь и большего оскорбления ты уже мне не сможешь нанести, а злое слово, даже шепотом сказанное, разит в самое сердце, так что кричать излишне...





И, словно зная наперед, что она должна была сказать именно это, он как бы выдохнул сквозь сведенные от ярости челюсти:

— Я никого не боюсь...

— Я тоже... — Этери внезапно быстро поворачивается, грациозным движением изгибая стан, и широко распахивает окно: — Вот, кричи, пусть хоть весь город об этом знает, какое мне дело до того, что подумает обо мне какой-то там Чибурданидзе?! Кричи! Хочешь, я помогу тебе орать, соберу тебе слушателей, хочешь? Дай только знак, я готова!

Из открытого окна в комнату ворвалась струя вечернего холодного воздуха, и стало легче дышаться, ее отпустили раскаленные тиски. Она уже и не собирается кричать, ей уже это расхотелось, и спорить тоже ей не хочется больше; она поворачивается к нему спиной и смотрит в окно, на город — все те же освещенные окна, а за ними еще и еще, а дальше сверкают фонари, за теми фонарями, совсем далеко, тоже сверкают, блестят рекламы, и там, и еще дальше, и совсем далеко — над всем городом взлетают эти яркие россыпи, только не похожи их сполохи на те золотые снопы, что разливают солнце, и потому прохожие кажутся не людьми, а тенями, особенно когда смотришь отсюда, с верхнего этажа, — тени сливаются, расплзаются, подпрыгивают, крадутся... Им всем до тебя и дела нет — каждого из них ведут свои страсти, свое горе, да что бы ни вело, все равно им до тебя нет никакого дела, ничего ты не привлекаешь внимания, хотя молодежь ничего не упускает из виду, следя за всем алчными, жадными глазами. Но если только ты сама не удержишь на них взгляда, они не станут на тебя долго смотреть, отведут взор, чтобы не пропустить что другое, и ты снова остаешься одна — оно и лучше, в одиночестве среди теней. Да, там лучше, чем дома, — множество теней, хотя каждую из них влечет свое желание, своя забота, ты же — одна, и ничего, что ветер с тобой, и что осенний холод, тоже ничего. Ничего, что и фонари и рекламы; ты и не заметишь, как пестрят буквы, ничего не заметишь, все равно ты одна, и ты вздохнешь глубже, намного глубже, свободней, вольней, нежели здесь, у этого раскрытого окна. А если ты обернешься, то еще трудней станет дышать, перехватит дыхание, потому что он сидит здесь, словно собираясь с силами, чтоб вот-вот, изловчившись, прыгнуть на тебя... Она вздрогнула, дрожь тронула нежные плечи, и они легко, грациозно встрепенулись. «Надо выйти, надо выйти!». Она отошла от окна и, даже не взглянув на него, открыла дверь.

— Подожди! — это голос Бибо, но какой-то приглушенный и сдавленный.

— Что прикажешь? — останавливается Этери. Дверь уже открыта, она останавливается в дверях.

— То, о чем мы говорили...

— Уже сказано.

— Я тоже выйду...

— Тогда я останусь...

— Почему?

— Так...

Бибо уже не взмахивает руками, уже не пытается ухватиться за что-нибудь, он просто тихо оседает в кресло.

## XXI

Нельзя сказать, чтоб она была потрясена так же, как в тот, в первый раз, но она все равно прошла мимо теней так, что и не заметила их. Ее тоже никто не замечал: каждого гнало вперед свое, для одних это была радость, для других — печали и заботы; но были тут и счастливые, веселые, они тоже были гостями вечерних сумерек. Только всем им было не до нее. Ну, кому на улице дело до спешащей куда-то и зачем-то одинокой, пусть и очаровательной женщины?

Она почти бежала, и тени, сторонясь, уступали ей дорогу, были вынуждены уступать, ибо она никого не видела пред собою, да и тени отодвигались, даже не глянув на нее. А она бежала и бежала куда-то вперед, двигаясь, словно вслепую.

Но тени постепенно редели, и, когда уже некому стало уступать ей дорогу, она поняла, что осталась одна, одна на набережной, на том самом месте, где застыла перед ней машина, умчавшая ее за город. Тогда она была вне себя, была ошеломлена, тогда ей грубо бросили в лицо неожиданное, несслыханное, и она покорила, ибо тогда она была ошеломлена, а теперь... Теперь ей ничего неожиданного не сказали, а только повторили уже ею слышан-



ное, и она не поразилась, и все-таки что-то непонятное снова привело ее сюда, и она не знала, вернется ли еще домой. В тот раз пред ней выросла тень и повела ее за собой — она устремилась за тенью поэзии, и хотя тень, будто бы исчезла, но все равно не оставляла ее одну, время от времени возникающая и приглядывая за ней. Теперь тень, наверное, и не подозревает, что она здесь снова, — тень кружит, наверное, по родной стране, собирая повсюду крупицы поэзии, иначе она помогла бы и теперь. Но.. стойте! Кто-то бежит, вот уже пересекает набережную... А вдруг это та самая большая тень и на этот раз устремляется к ней, чтобы ей помочь? Так она думает и идет навстречу. Пролетел грузовик, заслонив собою тень, а может, подмяв ее под себя. И сердце у Этеры падает. Но это всего лишь на миг. Грузовик пролетает мимо, и тень по-прежнему устремляется к ней. Но это уже не та тень — другая, она быстра, напориста, энергична, словно собиралась на штурм, она бежит сломя голову к ней навстречу. И ей слышится восторженное восклицание.

— Наконец-то!.. — призрак, что оделся в плоть, бьет от радости в ладоши.

— Вы?! — произносит она с удивлением.

— Я!.. Подождите, машина там, я ее оставил, боялся потерять вас из виду, думал, снова исчезнете, и сразу побежал, не повернув машины.. Я сейчас.. стойте!..

И он, не ожидая ответа, бежит как ошалелый к машине. Миг — и машина загорается светом и пулей устремляется к ней. Открывается дверца, она садится. Машина срывается с места, вылетает на площадку, но уже не поворачивает там к Варазисхеви, а мчит прямо в Сабуртало. Она молчит, а он говорит безостановочно:

— Что это было!.. Что за ночь была!.. Мне потом все не верилось, но как же теперь не верить, когда вот снова все повторилось. Пусть бы, мечтаюсь, снова вышла из Куры та прекрасная русалка, пусть бы похитила меня, истерзала, измучила и бросила... Как я жаждал этого! Каждый вечер я был здесь, колесил по набережной вдоль и поперек и ждал, ждал вас... Иногда и без машины приходил, может, думал, машина пугает ее. Если это и в самом деле была русалка, то она могла испугаться машины. Хотя когда-то вы не испугались. Но ведь все модернизируется, вот я и подумал, что вы — модернизированная русалка. И чего только я не передумал! Как я мечтал о вас, как жаждал встречи. На работе надоело, все хотели меня в командировку услатить, но я каждый раз ухитрялся отделаться. Только однажды мне это не удалось, и я был уверен, что вы именно тогда приходили, что я упустил случай. Но я верил, что случай повторится, он не мог не повториться, я ведь так упрямо ждал. Ведь по теории вероятности, случившееся однажды когда-то может, должно еще раз повториться! И вот вы снова сидите рядом со мной и я везу вас, а вы даже не спросите, куда мы едем; да и для чего вам спрашивать, вы ведь ясновидящая, вы и без того все знаете! Это я слеую за вами, это вы мчите меня, и хотя я думаю, что навязал вам свое желание, все это тоже не что иное, как ваше колдовство, и мне только все кажется, что это я такой молодец. Пусть так, хорошо, но ведь в том, что я доверился случаю, поверил в вероятность, ведь в этом сказались все-таки и моя сила воли? Или и это ваше? Хорошо, пусть будет ваше! Если вы тень, оставайтесь тенью... В детстве я слышал сказку про то, как охотник полюбил фею. Полюбил он Дали, и Дали родила Амирана... Нет, это вы слышали... Но я еще и другую сказку помню — как охотник влюбился в тень... забыл только, как все это кончилось. Как жалко! Потому что я бы хоть знал теперь, чем кончится наша сказка. — Тон его по-прежнему шутилив, в нем звучит все тот же насмешливый оттенок, но иногда прескальзывают трагические ноты, что еще более подчеркивает ироничность тона, как было и в тот раз, прежде чем он захмелел. А если и теперь... А пока машина неслась, ловко увертываясь от автобусов, троллейбусов, легковых машин. Позади уже остались корпуса политехнического института, Дворец спорта тоже остался позади, хороший дворец, но и не столь уж великолепный, какого можно было бы пожелать для Тбилиси... И много другого осталось здесь позади. На развилке, откуда начинается Военно-Грузинская дорога, машина юркнула в гущу кишевших здесь других машин, смело запетляла и вылетела на проспект Важа Пшавела. Потом машина замедлила ход, свернула в кварталы. Миновав завод изотопов, она заколесила по узеньким проездам и проходным дворам — впрочем, трудно сказать, где там был двор, где улица, а где проход — пожалуй, в этом бы можно было разобратся, только имея пред собой план застройки Сабуртало. Да и то человеку опытному. Хотя нужна была особая сноровка для того, чтобы найти свою собственную квартиру. Дома, или





так называемые корпуса, не отличались друг от друга, как не отличались дворики, и улицы — ничего нельзя было отличить.

Наконец он остановил машину, сказав: «Приехали». Он вышел из машины. Вышла и она. Они вошли в последний подъезд, хотя, может, он был и первым, словом, они вошли в первый или последний подъезд, поднялись на пятый этаж, который для старых домов был бы третьим.

Квартира была пуста, и на Этери сразу пахнуло холодом необжитых комнат, запахом сырых стен, мебели — совсем новенькой мебели, ну да и стены-то ведь тоже были новые. На кухне плита еще ни разу, верно, не горела ярким пламенем, из кастрюль не поднимался пар; хлеб тут еще ни разу не плесневел; только в углу ванной кучей лежал мусор, а в самой ванне валялись небрежно скомканные полотенца и грязные майки. Постель в спальне была не убрана, и только одна передняя комната, считавшаяся, видимо, гостиной, была в порядке, но это не прибавляло тепла этой пустынной обители, дышавшей холодом пустоты и одиночества, который здесь прочно обосновался. Мужчина с шумом, с треском распахнул все двери, в одну комнату вошел, из другой вышел, повернулся и снова вышел, и постоянно слышалось то какое-то хлоппанье, то звук падения чего-то; он то и дело спотыкался, словно хотел, чтобы все вокруг зашевелилось, ожило. Наконец он явился с бутылкой «Энисели» в руках с таким видом, будто совершенно неожиданно на нее наткнулся или захватил где-то как трофей...

Она сидела спокойная и безучастная, притулившись на первом же под-вернувшимся ей стуле, закрыв колени полами пальто и вложив ладони в рукава его. Она слышала шум, который он производил в комнатах, заметила и как он обрадовался, когда нашел бутылку коньяка, но все это проходило как-то мимо нее, погруженной в свои думы. Теперь она уже совсем не могла бы сказать, вернется ли она снова домой. Он с сияющим лицом откупорил бутылку и попросил ее к столу. Она молча качнула головой — может, это она мыслям своим отвечала... А он решил, что она отказывается, вмиг сгреб со стола бокалы, бутылку, прихватил и два стула и подошел к ней. На один стул он сел сам, на второй поставил бокалы и бутылку.

— Только устраиваетесь? — спросила она, спросила равнодушно, просто так, нужно же было о чем-то говорить.

- Да... вернее, меня устраивают.
- Хорошо, когда у человека есть кто-то, кто бы о нем позаботился.
- Родители заботятся. Вот поселили меня отдельно, в этом кооперативном доме, может, мол, семьей обзаведешься...
- Обзаведетесь...
- Не знаю...
- Человеку трудно одному...
- А я здесь и не бываю, только иногда переночую. Дома порой неудобно беспокоить, особенно когда приходится где-нибудь задержаться, а тут уж стесняться некого. И привести туда никого нельзя. Да и друзьям здесь как-то свободнее, родители их стесняют... Они и сами приходят сюда и кого хотят с собой приводят, даже в мое отсутствие... Ключи у них есть... В общем, не квартира — постоянный двор, забегаловка, не оправдались надежды моих родителей.
- Еще оправдаются.
- Не знаю... Хотя знаю. Я все дальше и дальше отхожу от того, о чем им мечталось, с каждым днем, с каждой минутой.
- Когда-нибудь одним прыжком вы одолеете это расстояние.
- Такой прыжок требует больших сил.
- У вас они найдутся.
- Вы уверены?
- Трудно сказать...
- Конечно, и вы не верите... Хотя что нам до этого! — Он наполнил бокалы коньяком. — Выпьем за нашу неожиданную встречу! — и залпом осушил свой бокал. Она тоже отпила, отпила до середины, смелее, чем тогда, в первый раз.

- Вы научились пить! — одобрительно замечает хозяин.
- Нет... это случайно... больше я пить и не буду.
- Случайно можно бы и побольше.
- Можно, но я не люблю случайностей!
- Но ведь бывает случайный миг?
- Миг — это миг...
- Вся жизнь состоит из мгновений...
- Остроумно сказано, — засмеялась она.
- Считайте, что так. Но я не собирался острить. Я сказал совершенно серьезно. — И он, слегка подбросив в руке бутылку, потянулся к ее бокалу.



— Не наливайте больше!  
— Хорошо...  
— И вы не пейте...  
— Почему? — опуская бутылку, спрашивает он. — Допустим, вы не хотите, но если я хочу пить, отчего бы мне не выпить?  
— Поддаваться своим желанием — это слабость.  
— А в чем же сила?  
— В умении подавлять в себе желания.  
— Желания желаниям рознь. А в этом моем желании нет ничего особенного.  
— Желание всегда есть желание. Слабый в маленьком проявит слабость и в большом. Возьмем, к примеру, хотя бы вас: бокал — пустяк, вопрос семьи — нечто большее. Вы проявляете слабость и в первом, и во втором.  
— Выходит, любитель выпить не способен создать семью?  
— Нет, я ведь о легкомыслии говорю...  
— Все равно. Только мне эта дидактика хорошо знакома. Хотя вы-то не повторяйте того же.

— Извините... к слову пришлось и...  
— Ладно, пусть будет к слову. Но скажите, что такого особенно соблазнительного в семье, что все так усиленно мне о ней толкуют? Почему я обязательно должен увеличивать население? Разве без меня оно не увеличится? Ради бога, не надо мне этих забот! Пусть другие бьются головой о стену и ищут выхода. — Он легко вскакивает и продолжает, чуть не пританцовывая на месте: — Там, где забота, там нет радости жизни. А на свете столько красоты, столько наслаждения...

— Сколько?  
— Сколько бы ни было, пусть даже всего одно — уьемся им... Чего нам отравлять себе жизнь заботой? — И он приближается к своей гостье, протягивая ей руку. Она не отвечает на его движение — ее руки в рукавах пальто. Он склоняется над ней, берет ее за руку, осторожно, почти бсызливо, словно бы опасаясь чего-то, берет ее за руку и вздрагивает от удивления или радости, а может, от одного и другого вместе.

— А я так боялся! — не воздерживается он от восклицания.  
— Чего?  
— Вы были тогда так холодны! — И он трогает ее за руку, осторожно трогает, будто все еще не веря, что ее теплая рука лежит в его руке.

— А теперь уже не бонтесь?  
— Нет, конечно, нет! — И происходит что-то удивительное, непонятное. Женщина внезапно вся каменеет и рука ее стынет в руке мужчины, красивые точеные пальцы превращаются словно в ледяные сосульки. Весь охваченный чувственной дрожью, он ласкает ледяные сосульки, боясь до жути, чтобы они не растаяли капля за каплей.

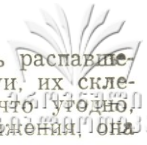
Улыбается она, и эта улыбка будто разливается по всему ее телу, точеная рука теплеет в его руке.

— Наконец-то! — вырывается у него, похожее на вопль. Она послушно идет за ним...

## XXII

Внезапно что-то загрохотало и рассеялся дурман, оборвалось забытье. Женщина пришла в себя, откинула одеяло, встала... Он спал, лежа навзничь, при люющемся из окна уличном свете лицо его казалось отечным, да и весь он был уж очень какой-то налитой, массивный. Сейчас он был похож на Голиафа, который, только что одолев врага, прилег после битвы отдохнуть, и даже сон не стер с его лица следов радости победителя. Не глядя больше в его сторону, она тихонько, стараясь не шуметь, встала, оделась, прошла несколько шагов, неслышно ступая на носках. Но перед зеркалом она все же задержалась и поправила сбившиеся волосы, хотя свет, проникший сквозь оконные стекла, был совсем смутным. На улице горело множество огней, и весь этот район, новый район большого города, был щедро залит светом, но в комнаты, под низкие потолки, он еле просачивался и уж совсем ослабленным достигал зеркала — отражение было каким-то стертым, очерчивалось лишь смутными контурами. В зеркале словно замерла тень, глядевшая на нее с немой укоризной. А когда она приподнимала руки, чтобы поправить волосы, двойник ее в зеркале странно искривлялся... Красота разошлась с нею и смотрела на нее откуда-то изда-лека, смотрела с глубокой укоризной. Прекрасное превращалось в уродливое,





и обратного этому пути уже не было. Прекрасное распалось, а ведь распавшееся никогда не сложится воедино: когда ломались прекрасные статуи, их стеклянные обломки уже никогда не становились Красотой. Нет! Все что угодно, лишь бы не пристало к ней уродство, она не сделает ни единого движения! Она будет стоять так, застыв, только бы хоть разок еще коснулся ее, упал на нее луч Чистоты, Нежности, Красоты...

На улице вновь что-то загрохотало, взорвалось громом, раскатилось окрест и смолкло. Она вздрогнула, отряхнулась от оцепенения. Надо было уходить. И внезапно само собою решилось большое: не вернется к Бибо, не сможет вернуться. Вот и кончилась игра в семью, вот и настал конец, высвободилась она из-под этого ярма. Согрешив, высвободилась. Не о чем было больше думать! Да, недаром прошла она через это духовное чистилище: согрешила, но зато все решилось. Теперь она вернется к тетке Саломэ. Мать ее тоже нашла у нее приют, и она пойдет туда. Завтра настанет новый день, для них полный тревог и потрясений, для нее — день сожаления и грусти: как же это так я согрешила, что это со мной случилось, что меня заставило? Но это уже будет завтра, завтра и послезавтра, теперь же она испытывает отвращение к самой себе и не знает, куда от себя спрятаться. Но куда ей не убежать от того сумеречно-угрюмого лика, что, обернувшись тенью, подглядывает за нею из зеркала. Но хоть отсюда ей надо убежать. И она бежит, уже ничего не стесняясь, но спотыкается, и что-то с резким шумом падает.

Он просыпается, вскакивает и тотчас же зажигает свет в спальне, в гостиной, в прихожей — повсюду; бежит к ней и по дороге включает свет. Она уже у дверей — еще минута, и она успела бы открыть и выбежать, уйти. Но только не хватило ей этой минуты: свет упал на нее, и она съехала у дверей: свет ослепил ее, и у нее подкосились ноги.

- Ты уходишь?!
- Ухожу...
- И ничего мне не говоришь?!
- Что мне сказать?!
- До встречи...
- Никогда!..
- Но ведь хотя бы попрощаться... принято...
- Прощание таит крупницу надежды...
- Но без нее невозможно...
- Нет, никогда!

Он подходит к ней близко.

— Не прикасайтесь ко мне! — пронзительно вскрикивает она, содрогаясь всем телом от дрожи. Словно волны накатываются на нее, а она цепляется за камни, но они тоже сдвигаются с места, уходят вместе с ней..

— Я хочу сказать тебе...

— Я вас слушаю! — Она произносит это бесстрастно, ледяным тоном: мол, больше ни шагу ко мне.

— Войди в комнату, присядем, переведем дух.

— Повторяю: я вас слушаю! — Довольно, мол, лишних слов, говори, если что имеешь сказать, а если нет, то я пошла.

— Хорошо, поговорим потом, если ты сейчас торопишься. — Мы, мол, еще не раз встретимся.

— Никогда! — она передергивается, словно бы хочет сказать: вот сейчас я открою дверь.

— Подожди! — восклицает он в тревоге и, подавшись вперед, тянется к ней рукой.

— Я же сказала: не прикасайтесь ко мне! — бросает она повелительно. И протянутая рука застывает в воздухе.

— Странно! — произносит он взволнованно, забыв о руке.

— Оставим объяснения! Говорите, если у вас есть что сказать.

— Как мне сказать, как убедить? Ты бежишь, и я за тобой...

— Вы!

— Вы?! Вы! Хорошо, пусть так, только я думал...

— Что стерлась граница?

— Да!

— Нет, забудьте все!

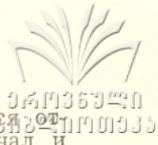
— Такое не забывается...

— Это для юношей. Для вас же в этом нет ничего необычного.

— Вы необычная!

— Довольно!

— ~~Постояте!~~ Так невозможно разговаривать. Хотя бы повернитесь ко мне лицом.



— Говорите! — Она оборачивается.  
— Хорошо... Останьтесь.  
— Ха, ха, ха... — холодно смеется она. И смех этот будто доносится издали, будто не у самых дверей он внезапно сейчас прозвучал и так же внезапно смолк.

— Оставляйтесь как моя супруга и повелительница...  
— Ха, ха, ха...  
— Я не шучу, не удивляйтесь! Ведь если б я решился когда-нибудь, то это должно было прийти вот так неожиданно.

— Ха, ха, ха... — доносится откуда-то из еще более далекого далека, еще более холодно.

— Я ни о чем не спрашиваю вас: кто вы, что вы, замужем вы или нет, ни о чем, ни о чем не спрашиваю, только останьтесь, для вопросов у нас потом будет времени вдоволь.

— Что-о-о?! — вновь доносится издали, только это уже не смех, это больше похоже на стон, на сдавленный стон.

— У нас для всего потом будет время. Мои родители тоже успокоятся, и я успокоюсь! Всем будет хорошо!

— А мне? — снова слышится далеким сдавленным стоном.

— И для те... для вас!

Приближается протянутая рука, сейчас коснется ее.

— Не прикасайтесь, говорю! — требовательно повторяет она и, повернувшись к нему лицом, впереется в него таким отчужденным и таким холодным взглядом, от которого можно вздрогнуть.

— Не ходите за мной, не ищите меня, не пытайтесь со мною встретиться! А если увидите, сделайте вид, что не видите...

— Почему?

— Не спрашивайте и не пытайтесь разобраться сами. — Она опускает глаза и, немного помедлив, тихо произносит: — Дайте мне ключ от машины.

— Я сам вас повезу.

— Не бойтесь, машина вернется обратно, я ее с кем-нибудь пришлю.

— Да я не боюсь, пусть она будет вашей, это — мой вам подарок!

Этери отшатнулась от отвращения. Это цена ее греха!.. Она, повернувшись, рывком распахивает дверь и почти что слезает с лестницы. Он несется за ней бегом. Он понял, что допустил грубую ошибку, дал промах, и он умоляет ее остановиться. Он должен, должен ее убедить, что он с лучшими намерениями... Разве он мог себе позволить оскорбить ее?! Нет, нет! Он умоляет ее на коленях, пусть простит, пусть разрешит хоть отвезти себя домой, он по дороге убедит ее, и она поймет, простит...

Но она не слушает его, не желает слушать. Вот они уже внизу, и она устремляется прямо к проспекту. Поздно уже, никакого транспорта в эти часы нет, не пойдет же она в такую даль пешком? Пойдет, пойдет пешком, это ее не остановит, она не испугается ни расстояния, ни чего другого. Он не может отпустить ее так, а она не дает ему подойти к себе поближе. Что же делать? Надо насильно ее остановить и всучить ей ключи от машины. Надо сказать, пусть утром пригонят машину, но только, мол, они должны хоть еще раз снова встретиться, обязательно встретиться. Он скажет ей об этом, скажет твердо и убедительно! Но... «Никогда!» — слышится ему в ответ. Она швырнула ключи к его ногам, продолжая бежать вперед. Он тотчас же поднял ключи, догнал ее, грубо схватил за руку и снова попытался сунуть ей в руку ключи, остановить ее, вернуть к машине. Остановить ее ему удалось, но к машине она и шагу не сделала и ключи швырнула уже не под ноги ему, а куда-то далеко в сторону. Он растерялся: ключи надо было найти и ее остановить — а за двумя зайцами не угонишься... И он решил догнать ее! Ключи ведь никуда не денутся, но их надо поискать, вот в чем дело, поэтому лучше постараться сперва нагнать ее. Однако все-таки надо бы, пожалуй, ему их найти!.. И он спешит в ту сторону, куда, как ему показалось, упали ключи, и начинает их искать. За это время стихает, обрывается постукивание тоненьких каблучков. Все равно она выйдет на проспект, как бы ни кружили ее переулки и закоулки. А когда она покажется, он так или иначе ее нагонит... А вот почти и нагоняет, и снова начинается то же самое насилье. Но вдруг на самую середку проспекта падает огромная тень, она плывет вперед и поднимает руку, как если бы хотела предостеречь кого-то, а кого-то и ободрить. И к женщине возвращаются силы, у нее вырастают крылья, теперь ее уже никому не нагнать. Но крылья ей уже не нужны, потому что мужчина словно бы окаменел. Стал, остановился на месте и окаменел, а раз он окаменел, то уж больше не побежит вдогонку, стоит вот так неподвижно, соберется с мыслями и повернет обратно... Она уже не огля-



дывается, страх прошел, теперь она следует за большой тенью, ниспосланной охранять ее. И плывет впереди нее большая тень, тень поэзии — ее утешение. Она идет за большой тенью, и движутся они вдвоем вдоль широкого проспекта, меж высоких строений; фонари провожают их, но не тени, ибо сами тени не имеют теней. Ей уже нечего сказать, мысли смешались, спутались.

Город тих, только изредка прокатывается какой-то гул. Но душа ее так взбудоражена, все существо пронизано таким неодолимым внутренним трепетом, что кажется, ничему уже не вывести ее из этого состояния.

### XXIII

И Этери казалось, что тень тоже трепещет... Но это сама она трепетала, и ей казалось, что тень тоже дрожит и что-то приговаривает — как будто тени умеют говорить! И все же Этери услышала, отчетливо услышала, хотя рядом с ней никого не было на этом безлюдном полуночном проспекте. Одна только тень была... «Не так... нет! О, нет!..» Но ведь никого тут не было, кроме тени, Этери прислушалась: может, тень еще что-нибудь скажет и поможет Этери себя понять! Но когда она повела вокруг глазами, тени уже не было, исчезла тень, и голос тоже пропал, и не было окрест никого, кто бы объяснил ей, что именно не понравилось тени, которая явилась ей как заступница, проводила ее, довела до самых дверей тетушки Саломэ и исчезла с едва различимым стоном... «Нет! Нет!»... Но отчего так вздрогнула и возмутилась тень, не грех ли Этери возмутил ее?

И она разрыдалась...

Но она перестанет рыдать, не вечно же ей стоять перед дверью тети Саломэ.. Она надавит на кнопку звонка, ей откроют, она войдет, и еще многое другое за этим последует. Но только оставим ее и займемся другими, подобными ей остальными. А с ней мы встретимся, непременно встретимся — она молода, красива, пленительна, просто жизнь на первых порах у нее не задалась, смешалось все, спуталось. Но мы непременно встретимся с нею, ибо где ж еще и быть писателю, как не в гуще судеб людских.

Перевод Лили БААЗОВОЙ





●  
Р о м а н  
●

1

— Д О СКОЛЬКИХ они умеют считать? — спросил Гимельблау, уставившись на меня своими оловянными глазами.  
— Как до скольких? — удивился я, оглядывая хмурую конопатую рожу фельдфебеля.

— Австралийские аборигены, к примеру, — начал пояснять он, — считают только до четырех, пятерки у них уже нет. Про все, что свыше четырех, они говорят «много». Я читал насчет этого в записках одного путешественника. Очень интересная книга. А эти имеют «четыре» или «пять»?

— Конечно! У них есть и «сто», и «тысяча»!

— Поди ж ты! Вот не поверил бы. А понятия «большой» и «маленький» у них тоже есть?

— Есть.

Фельдфебель слушал меня с недоверием, пренебрежительно глядя на бредущую мимо толпу.

— Тасманцы, например, этих понятий не имеют, — продолжал он, — все маленькое они именуют «коротконогим», а все большое — «длинноногим».

С пленными фельдфебель уже несколько месяцев. Проверяет он меня или разыгрывает? Я безразлично проинформировал его:

— У них есть и собственная письменность, она насчитывает более двух тысяч лет.

---

НОВЫЙ роман Александра Каландадзе «Водоворот», первую книгу которого мы публикуем, написан на материале борьбы советских партизан во Франции во время второй мировой войны.

В основу романа легли действительные события, участником которых был сам автор — ныне грузинский писатель, известный русской читательской общественности по роману «Преодолевая себя» и повести «Дни в Брестской крепости».





— Байдингер, Брайтфюсер! — громко, со смешком сказал фельдфебель, — Мюллер утверждает, что эти варвары считают до тысячи и что собственная письменность.

— А мне все не удается вдолбить им, как строиться в шеренгу! Поглядите, топают вразброд! Прямо папуасы! Верно, и запаха жареного мяса никогда не чуяли, — кривясь, произнес унтер-офицер Байдингер. Он молод, светловолос. На широкой груди этого верзилы Железные кресты всех трех степеней, медали «За подавление партизан», «За ранение» и многие другие знаки отличия. Он только что переведен сюда, недоволен своим новым назначением и все ищет повод позлословить и над кем-нибудь поиздеваться.

— Мюллер и клевет их понимает, — тоненьким, птичьим голоском прокричал Брайтфюсер.

Он с грехом пополам говорит по-русски и до моего появления один выполнял обязанности переводчика. Желчный, злобный, он не может скрыть недовольства моим появлением, словно бы я вырвал у него изо рта лакомый кусок.

— Доказано, — категорически заявил он, — что человек, освоивший язык чужого народа, невольно перенимает и его характер и привычки.

Фельдфебель и унтер-офицер усмехнулись.

Мне немало приходилось терпеть, но тут интересы дела требовали, чтоб я немедленно встал на защиту своего «немецкого достоинства».

— Герр зондерфюрер, — сказал я сухо, — вынужден напомнить вам, что я не вхожу в число ваших подчиненных. Попрошу вас взвешивать свои слова. Смее предупредить также, что я не привык спускаться оскорбления. Между прочим, а вы сами какие привычки врага усвоили с его языком?

Лихо я завернул! Брайтфюсер побледнел. Фельдфебель перестал усмехаться, а Байдингер присвистнул. Они посмотрели на меня, друг на друга и молча разошлись.

Такого рода стычек вообще-то говоря следовало избегать — потому что немцы обращались друг к другу с уставной подчеркнутой предупредительностью. Их, по сравнению почти с тысячью пленных, была горсточка, и они держались обособленно, как люди одной касты. Но я не придавал инциденту значения, будучи убежден, что мне уже сегодня удастся расстаться с этими гитлеровцами, что все закончится, пока мы еще в пути.

Асфальтированное шоссе ползло все выше и выше, извиваясь в низкорослом кустарнике, вот-вот должны были показаться долгожданные лесистые взгорья. Ожидание всегда, хочешь того или не хочешь, держит тебя в нервном напряжении. Одновременно бежать тысяче человек очень трудно, но я все-таки не сомневался, что эта тысяча пленных, безоружных, вконец измотанных, но сплоченных отчаянием и яростью, расправится с пятидесятью конвоирами.

Пленные были собраны в рабочий батальон из разных лагерей по национальному признаку — сюда свели грузин. Но, кроме них, в батальоне встречались и армяне, и азербайджанцы, и аварцы, и русские, и украинцы, было даже несколько евреев — одни из них назвались грузинами, другие понали сюда из-за темных волос и глаз — далеко не все гитлеровцы разбирались в народах, населяющих Советский Союз.

Я намеревался помочь пленным бежать и повести их на восток, чтобы они, вооружившись по дороге, перебрались через линию фронта. Но к моему появлению план побега был уже продуман подпольным комитетом, в который входили Бано Берошвили, Гурам Гамрекели и Энвер. В ротах действовали нелегальные группы. Трех из руководителей групп я уже знал — Илью Меликова, Фому и Асланбека. План побега был неплох. По сигналу Берошвили подготовленные заранее люди — наиболее сильные и готовые пожертвовать собой — бросятся к конвоирам, другие члены подпольных групп побегут, увлекая за собой остальных пленных, многие из которых ничего не знают. В этом, на мой взгляд, заключалась слабость задуманного, но в то же время от сохранения тайны зависела судьба и жизнь каждого. Я разузнал у фельдфебеля направление движения колонны, подслушал болтовню немцев о местах, через которые идет дорога, и о том, что горы здесь покрыты густым лесом. Лучшее место для побега трудно сыскать.

Все, все было предусмотрено, даже то, что иных пленных, оробевших от неожиданности, придется подгонять, ослабевшим и больным помогать идти, а некоторых даже нести. Одно лишь оказалось непредвиденным — выяснилось, что на небольшом расстоянии и за нами, и впереди нас двигались воинские части. Это-то и могло расстроить задуманное.

Передвижение воинских частей чаще вызвано катастрофами, которые одна за другой терпели германские армии на Восточном фронте. Комплектовочно-распределительные пункты лихорадочно формировали из рассеянных, разбитых и перемешавшихся соединений новые части, вооружали их и снова





отправляли на фронт. Кроме того, производилась грандиозная переброска войск с Западного на Восточный фронт и в обратном направлении — по военно-стратегическим, то ли по морально-политическим соображениям.

И в этой сумятице по дорогам Центральной Европы медленно полз наш батальон. Истрадавшиеся люди тащились, не зная, куда их гонят. Родина отходила все дальше и дальше, и многим все несбыточнее казалась мечта о возвращении.

Шоссе повисло над склоном. Пошло мелкоколесье, жидкие рошдицы, перелески, впереди открылись поросшие лесом горы. Раговоры смолкли. Слышался только гулко отдающийся в ущелье топот сотен ног. С захолонувшим сердцем я потер рукою лоб и ускорил шаг. Поровнявшись с Ваном, пошел рядом.

— Видишь ту гору, с раздвоенной вершиной? — шепнул он мне, — Как по-дойдем к ней, я вскину руку и... Передай, да поживее, Гураму и Энверу.

Я еле заметно кивнул и начал притоставать.

Шоссе вдруг повело под уклон. Через несколько минут дорога зышла к большому зеленому лугу.

Гимельблау достал из полевой сумки карту, огляделся, перекинулся несколькими словами с Байдингером и внезапно выкрикнул: «Стой!». Загем он скомандовал унтер-офицерам, чтобы они свели пленных на луг.

Немцы залазгали автоматами.

— Ложись! — крикнул Гимельблау.

Под суматошливые крики конвоиров пленные повалились на землю.

Подъехала машина с офицерами. Знакомый уже мне майор Пунч дал указания Гимельблау и покатил дальше.

Послышалась немецкая строевая песня, и на дороге показался идущий навстречу нам полк.

— Встать! — скомандовал Гимельблау. Когда пленные поднялись на ноги, он объявил: — Выслушайте третий пункт устава — относительно конвоирования пленных: «Всякая попытка к бегству пресекается применением оружия без предупреждения! Воспрещается: разговаривать в строю, выходить из строя, отставать».

Гитлеровцы взяли автоматы наизготовку, и батальон двинулся дальше.

Когда мы обошли скалистый отрог, показалась идущая впереди нас воинская часть.

Неужели они специально именно с таким расчетом ведут батальон? Все погибло! Наши планы попросту наивны.

Я с тоской посмотрел на леса и поспешил догнать Ваню.

— Видишь, что делается?

Он мрачно опустил голову и пробормотал:

— На привале поговорим.

Мы прошагали километров тридцать.

Уже вечерело, когда истомленный голодом и жаждой батальон дотащился до прилепившегося к подножию горы маленького поселка возле железнодорожной станции.

Не успели объявить привал, как люди бросились к водоразборной колонке. Началась давка. А вода лилась и лилась. Площадь превратилась в болото. Многие приныкли прямо к лужам.

Немцы врзались в толпу, орудя прикладами. Гимельблау, надрывая глотку, орал, расшвыривая пленных, пинал их в спины, оттаскивал за шиворот. Он пробился к колонке, чтобы закрыть кран. Наконец возле крана оталось всего несколько человек, но Байдингер, размахивая автоматом, отгнал и их. Только один широкоплечий здоровяк Хабази не отходил от колонки, словно не чувствуя сыпавшихся на его спину ударов. Он старался наполнить свой котелок, отмахиваясь от Байдингера свободной рукой. Байдингер покачнулся под его увесистой ладонью и, поскользнувшись, шлепнулся в грязь. Гимельблау и еще трое унтер-офицеров подскочили к Хабази сзади и скрутили ему руки. Байдингер поднялся на ноги, размахнувшись, двинул Хабази прикладом по голове. Гимельблау защеппнул у него на запястьях кандалы. Хабази стоял, дрожа от ярости. Не в силах смотреть на него, я опустил голову и содрогнулся, увидев кровавое месиво — это был большой палец. Как и большинство пленных, Хабази был бос, а его ноги отшлепали уже сотни километров в дождь и снег, под жаркими суховеями и в лютую стужу.

Унтер-офицеры отвели Хабази в станционный склад, заперли на замок и приставили к двери часового.

Гимельблау и Байдингер отправились в поселок, чтобы доложить начальству о случившемся.

На станцию подали порожний товарняк, к нему были прицеплены три классных вагона.





Пленные зашумели, загомонили. Одни предполагали, что состав пред- назначен для нас, и говорили, что лучше подохнуть, но дальше не двину- тся, другие считали, что ради батальона пленных железнодорожный состав не отвлекали бы от воинских перевозок. Люди постарше и порассудительнее ста- рались уговорить разгорячившихся парней покориться до времени, потому что пленные все равно что на привязи — куда потянут, туда и тащатся.

Подъехала автомашина с офицерами — майором Пунчем, гауптманом Гартманом, обер-лейтенантом Гасселем, Гимельблау и Байдингером. Майор по- глядел на колонку, на лужи воды и приказал построить батальон. Он был ни- зенького роста, с седеющими висками, пухлотелый, самодовольно улыбающийся.

— Мои дорогие грузины! — начал он. — Я отлично понимаю, что вы уста- ли и измучились. Мы с вами уже давно в пути, а германская армия, кото- рая испытывает сейчас некоторые затруднения, до сих пор не могла выде- лить для вас автомашин. — Пунч говорил убежденно, не сомневаясь в собст- венной искренности. — Теперь я, наконец, могу вас обрадовать — вашим страданиям пришел конец — отсюда мы отправимся поездом. Едем мы в от- личные места, вы там отдохнете, восстановите силы и сможете работать в прекрасных условиях. Я доволен вашей выдержкой и выносливостью и на- деюсь, что в дальнейшем вы будете себя вести так, что дадите мне, верному другу грузин, возможность аттестовать вас командованию с самой лучшей сто- роны. Но не забывайте, что без строгой дисциплины, без порядка немисли- мо соблюдение нормальных взаимоотношений между старшим и младшим, между начальством и подчиненными. Я вменю в обязанность своим офице- рам и солдатам обращаться с вами не как с пленными врагами, а как с зы- нами дружественной нам нации. Теперь отдохните, напейтесь воды, умойтесь. Сейчас подбедет полевая кухня, и вы получите не только горячую пищу, но и приготовленный для вас по моему специальному приказу кофе.

Брайфюсер ни за что не сумел бы придаться к моему переводу. Пере- водил я точно, но подчеркивал пафос речи майора, от чего она выглядела лживой.

Пунч кивком поблагодарил меня. Он считал, что хорошо знает грузин и умеет с ними разговаривать. Воспользовавшись случаем, я сказал:

— Герр майор, с вашего дозволения я буду чаще бывать с пленными, беседовать с ними, развивать ваши мысли.

— Считайте это моим приказом, — одобрительно произнес Пунч.

Ему было за шестьдесят. Богатый землевладелец, он лишь недавно был призван из запаса и назначен на необременительную и устраивающую его должность. В первую мировую войну Пунч отличился на Восточном фронте, а в 1918 году со своей дивизией попал в Грузию, и меньшевики наградили его орденом святого Георгия. Этот орден он носил и теперь, с удовольствием вспоминая о днях, проведенных в Тбилиси и Поти.

Сухощавый, молчаливый гауптман Гартман и лысый, с серым лицом обер-лейтенант Гассель выслушали речь майора с явным неодобрением.

Офицеры поднялись в отведенный для них классный вагон. Вскоре к майору вызвали Гимельблау и Байдингера.

Выйдя из вагона, они направились к станционному складу, вывели Ха- бази и сопроводили его к начальству.

Все в оцепенении уставились на двери вагона, где должен был свершить- ся суд над Хабази. Чем кончается суд гитлеровцев, все знали по печальному опыту.

Не знаю, сколько длилось тягостное ожидание. Наконец дверь загона распахнулась, в тамбуре показались офицеры. Они были в недурном настрое- нии — даже Гартман и тот, против обыкновения, чему-то улыбался. Весело болтая, они спустились по ступенькам и направились к станционному зданию. Затем Гимельблау и Байдингер вывели из вагона Хабази, сняли с него на- ручники и отпустили.

Раздались радостные возгласы, пошли объятия, поцелуи, поздравления. Еано обнял Хабази.

— А вы глядите, майор-то наш неплохой человек, — сказал Давид, при- личию, по сравнению с другими, одетый, всегда выбритый, научившийся за короткое время с грехом пополам балакать по-немецки. — Ведь будь на его месте другой, Хабази здорово полатился бы. И в самом деле, нельзя же так себя вести! Эдак они нас одного за другим перестреляют. Надо показать им, что мы культурный народ, а не какие-нибудь дикари.

Никто не выразил своего согласия с ним и никто не возразил. От него попросту поотворачивались.





Давид удивлял меня — редко я встречал в людях такую покорную и безропотную подчиненность. Он терпеливо и стойко переносил тяготы плена, на каждом отвлеченном нацисте умудрялся найти что-то человеческое.

Как и все, я был рад тому, что Хабази уцелел, но такая снисходительность майора наводила на размышления.

Майор собрал всех офицеров и унтеров в своем вагоне и под большим секретом сообщил, что мы отправляемся во Францию.

— Затянувшаяся война поставила перед вермахтом задачи, требующие нового, особого подхода к ряду проблем, — сказал он. — Нам дано почетное задание — использовать пленных во Франции для нужд рейха...

Выходит, немецкое командование отправляет из Франции на Восточный фронт свои тыловые части, строительные батальоны, а мы должны будем заменить их. Рассчитывают, видимо, на то, что французы будут относиться к нам как к врагам и мы не найдем с ними общего языка.

— Вам, господа, — продолжал Пунч, — следует теперь по-иному обращаться с пленными, учитывать их национальный характер. Я знаю грузин — они умны, способны, трудолюбивы, но беспримерно самолюбивы и горды, не терпят оскорблений. Из истории известно, что даже великие завоеватели старались жить с Грузией в согласии, шли на всякие уступки, чтобы не умалять их национального достоинства. Прошу учитывать это и уметь сочетать выскателность с некоторой... э... э... учтивостью.

Гартман угрюмо усмехнулся. Гассель пожал плечами.

— Тем, кто хорошо проявит себя, мы будем делать поблажки, — закончил майор.

Мы разошлись.

Навстречу мне шел Ваню. Говорить он вообще не охотник, а сейчас плотные скатые губы его словно срослись. Понять его легко — все задуманное провалилось.

Я огляделся. Несмотря на поощрительное согласие майора, мне не хотелось, чтобы немцы видели, как я беседую с Ваню. И не всем пленным я доверяю, они не знали, что зовут меня Ладо Асканели, что я из Батуми, работал до войны в редакции районной газеты, а затем ушел на фронт.

...Разрывы бомб и снарядов, гул, сотрясающаяся земля, стоны... Ранение, плен, концлагерь, побои и пытки... Побег... Будь благословенна моя школьная учительница, заставлявшая меня зубрить немецкие склонения, она спасла мне жизнь. От одного из полейков, а быть может, он был и не поляк, получаю задание, документы. По документам и легенде я немец, родился в Грузии, отсюда у меня такое произношение. Ко мне, Мюллеру, гитлеровцы относятся не так, как к пленным, и все же особым доверием у них я как «фольксдойч» не пользовался.

— Нас везут во Францию, — сказал я Берошвили.

Большие черные глаза Берошвили остановились на мне в недоумении. Единственное, что он знал о Франции, — это то, что она очень далеко от дома, где его ждали старуха мать и любимая жена. До войны он работал свиноматом в колхозе, однако война, подобно горнилу, сильно меняет и закаляет людей. Многие повидали и пережили за войну и Ваню. От моих слов лицо его налилось такой скорбью, что, казалось, от непролитых слез на нем взбухла каждая прожилка.

— Что же теперь будет? — воскликнул он.

— Что-нибудь придумаем, — обнадежил я его. — Ты слышал, что наболтал майор? Передай всем нашим, чтобы держались поспокойнее. Никаких взысков. Пусть немцы считают, что мы будем верно им служить. Нам нужно добиться каких-нибудь послаблений.

— Не понимаю, — проворчал Ваню. — Ладно, посмотрим.

Я отправился в свой вагон, размышляя о будущем. Одно дело втереть очки Пунчу, показав подложные документы, и бежать вместе с другими, другое — остаться. Какое-то время, пока меня будут проверять, ждать получения моего личного дела, я продержусь. Но потом?.. Однако бежать одному, оставив этих несчастных людей, выше моих сил.

Немцы спешили известить своих близких, что едут во Францию. Все они торопливо строчили домой письма и вручали их фельдфебелю, который должен был сдать их полевой почте. Делать было нечего, чтоб не вызвать подозрений, пришлось и мне нацарапать письмецо и отдать его Гимельблау.

— Кому? — весело спросил он.

— Супруге в Торнгофский лагерь.

— А-а! Значит, успел?

Я показал Гимельблау палец с обручальным кольцом. Он с ухмылкой прищелкнул языком и тут же, в моем присутствии, начал просматривать мое письмо.



Надписьвая адрес, я полагался на неосведомленность немцев — вряд ли они узнали, что Торнгофский лагерь для переселенцев немецкой национальности упразднен. Письмо мое возвратится не ранее как через три, а там видно будет.

Уже смеркалось, когда началась погрузка в эшелон. Роту за ротой заводили по вагонам, тщательно обыскивали и после этого двери замыкали на задвижку. Погрузка подходила к концу, когда вдруг возле одного вагона возникла сумятица, шум. Я тотчас бросился туда.

Гимельблау, Байдингер и еще три унтер-офицера тщетно пытались скрутить руки известному на весь батальон богатырю Ираклию Кавкасидзе. Стоило ему повести плечом, и они отлетали по сторонам. Отпихивал он их сдержанно, молча, словно нехотя. Байдингер размахивал автоматом, однако ударить Кавкасидзе не решился. Наконец, зайдя со спины, он занес автомат над головой пленного. Но не тут-то было. Зная, видимо, толк в драках, Кавкасидзе повернулся к Байдингеру, выхватил у него автомат, а его самого пнул ногой так, что тот бухнулся наземь. Увидя автомат в руках Кавкасидзе, немцы стали разбегаться, но он, оказываясь, не потерял разума и владел собой. Подойдя к перетрухнувшему Байдингеру, Кавкасидзе поднял его и сунул ему в руки автомат. Тогда унтер-офицер и Брайтфюсер снова набросились на него.

Я видел, как Байдингер с побелевшими от ярости глазами попытлся, вскидывая автомат.

— Оставьте его! — крикнул я. — Опустите оружие, и он сам пойдет за вами!

— Уберите автомат, Байдингер! — поддержал меня Гимельблау.

Как только на Кавкасидзе перестали наскакивать, он послушно двинулся вместе с Гимельблау к офицерскому вагону. Я, опасаясь за жизнь Кавкасидзе, хотел пойти за ними, но раздумал. Кавкасидзе был на особом счету у Пунча, и его не рискнули бы пустить в расход, не спросив майора.

Пунч знал, что Ираклий Кавкасидзе — выходец из когда-то знатного грузинского рода, и с восхищением любовался благородной осанкой этого атлетически сложенного белокурого красавца. Он как-то даже обещал, что возьмет его к себе в Баварию погостить. Найдя, что Кавкасидзе сильно исхудал и обессилел, Пунч назначил ему двойной паек. И одеждой Кавкасидзе отличался от остальных пленных — ему выдали незаношенную гимнастерку и брюки по размеру.

Как мне рассказали, Ираклий в юности слыл в Тбилиси за дебошира и даже отбыл за драку срок на Дальнем Севере. Теперь же, в зрелом возрасте, он производил впечатление человека покладистого, незлобивого, всем готового оказать услугу. Но он был до болезненности самолюбив и фанатично отстаивал свое достоинство, считая невозможным снести даже малейшее оскорбление. Я не сомневался в том, что, несмотря на уголовное прошлое, он никогда бы не поднял перед врагом рук и не обратился в бегство.

Гимельблау позвал в вагон меня. Оказывается, Кавкасидзе заявил, что может дать объяснения только на грузинском языке. Гимельблау и Байдингер были уже опрошены. Они уверяли, что не имеют понятия, за что Кавкасидзе на них набросился и чуть не убил, и просили, чтобы им самим поручили прикончить этого «грязного верблюда».

Пунч отослал их и обратился ко мне:

— Спросите, Мюллер, фюрста (он неизменно титуловал Кавкасидзе «фюрстом» — князем), почему он поднял руку на моих унтер-офицеров?

— Я не могу даже говорить о том оскорблении, которое осмелились мне нанести. Я для этого и слов не найду! — сказал мне Кавкасидзе.

Когда я перевел, Пунч вытаращил на меня глаза, подумал и, глядя уже на Кавкасидзе, сказал:

— Передайте, пожалуйста, фюрсту, что дело очень серьезное и я хочу, насколько это окажется в моих силах, ему помочь. Но если он не объяснит мне происшедшего, я не сумею ничего сделать. Заверьте его, что я его доброджелатель и покорнейше прошу быть со мной откровенным. Пусть все-таки скажет, что его так возмутило.

Я тоже стал убеждать Кавкасидзе, чтоб он рассказал, в чем дело.

Кавкасидзе раздраженно произнес:

— Хорошо, скажу. Но только объясни ему попростойнее. Когда я принимался в вагон, эти прохвосты стали гладить меня по задку. Но это, черт с ним, я еще стерпел. А потом спустили с меня штаны и давай похлопывать по тому же месту, да еще и пересмеиваться...

Пунч растерянно помолчал, потом неуверенно сказал:

— Поясните, пожалуйста, фюрсту, что обыск предусмотрен уставом. Я прошу его поверить, что ни у кого и в мыслях не было нанести ему оскорбление.





91136320  
303.00101033

— Что за обыск? — взъерепенился Кавкасидзе. — Хлопать руками по заду — это у них называется обыск?!

Я стал втолковывать Пунчу, что подобного рода обхождение с мужчиной считается у грузин смертельным оскорблением. Он все-таки не понял, потому что участливо попросил:

— Пусть фюрст покажет, куда именно его ударили и не осталось ли там синяка.

— Как?! — вскричал Кавкасидзе. — Теперь еще и перед ним оголяться? У него что, мозги разжижены? Пусть делают со мной, что хотят, но выставлять напоказ свою ж... я не стану!

Майор закричал. Он, видимо, не знал, как поступить. Воспитанный в монархическом духе ландскнехт, Пунч благоговел перед потомственными титулами; к тому же он, как я узнал позже, на самом деле получил указание обходиться с грузинами с возможной мягкостью. Майор опасался, что вынесение смертного приговора Кавкасидзе может вызвать взрыв среди пленных.

— Объясните фюрсту, — чуть ли не взмолился он, — что он ставит меня в крайне тяжелое положение. Если у него остался какой-нибудь след от травмы, я представлю ему возможность публично извиниться перед унтер-офицерами и приму все меры, чтоб замять это неприятное дело. То, что он совершил, карается расстрелом, и я не могу закрыть на его проступок глаза. Если эта история дойдет до начальства, меня по головке не погладят.

Мне тоже не удалось уломать Кавкасидзе. Лучше умереть, заявил он, чем снова оголять зад да еще извиняться перед этими хамами.

— Сделайте милость, спросите фюрста, — снова попросил Пунч, — не заметил ли он, кто именно из унтер-офицеров хлопнул его по... м-м... мягкому месту?

— Откуда я знаю кто!.. Все они на одно лицо. Кажется, этот, ну, новоприбывший мозгляк.

Кавкасидзе, конечно, считал меня немцем, и я удивился, как он осмеливался с таким презрением говорить о них при мне.

Я кратко доложил Пунчу:

— Его хлопнул унтер-офицер Байдингер. Пунч оторопел: Байдингер служил до перевода сюда в частях СС и имел большие заслуги перед рейхом.

— Скажите фюрсту, — пораздумав, проговорил он, — что я сделаю все, дабы спасти его от расстрела. А когда мы приедем на место, я отправлю его в концлагерь строгого режима. Такой проступок! Это, можно сказать, не наказание.

Гимельблау и Байдингер ожидали решения майора в тамбуре и удивились, увидя, что Кавкасидзе вышел вместе со мной.

— Куда ты ведешь этого бандита? — спросил Байдингер.

— В их теплушку. Господин майор счел смертный приговор нецелесообразным, — небрежно ответил я.

— У сакраменто! Вы только поглядите, что вытворяет этот траченный молью старик! — прошипел Байдингер. — Может, он еще прикажет, чтобы мы подставляли головы под удары этих дикарей! Не понимаю, кто тут в плену — они или мы?!

Я сопроводил Кавкасидзе к вагону, чувствуя спиной жалящий зменный взгляд Байдингера.

Перед отправлением Пунч, Гартман и Гассель обошли состав, проверили все запоры на дверях. Пользуясь договоренностью с Пунчем, я перебрался в один из вагонов с пленными. Эшелон тронулся.

Поезд, громыхая, пролетал мимо затемненных станций, городов и полустанков, порой замедлял ход и снова мчался дальше. В тускло освещенных вагонах было тихо. Никому не спалось, но было и не до разговоров. Каждый затаился со своим горем, со своими мыслями, каждый ушел в свой сокровенный мирок, вспоминал родных и близких и про себя надеялся на что-то...

Бесконечные смерти, опасности, провалы всех планов и надежд научили мечтать самых обычных людей. Они восстанавливали в памяти прошлое, стараясь уйти от действительности. Вынести тысячи мук, спастись от постоянных опасностей мог лишь тот, кто умел мечтать. Жить одним жестоким настоящим, не умея оторваться от него хоть ненадолго, было равносильно смерти. Все, что каждый испытал за последние два-три года, сливалось в сознании в сплошной кошмар. Поистине гипнотической силой должен был обладать тот, кого выслушали бы до конца, ибо все были уверены, что никто не может сказать ничего такого, что бы не было уже перевиждено и переслышано. Исключение составлял один дядя Савва, то ли потому, что он был старше всех го-



дами и слыл за человека умудренного и бывалого, то ли потому, что добросердечии его всегда оказывались ко времени и к месту.

Савву знали за человека прямого и непримиримого. Он ни перед кем не робел, никому ничего не спускал, был остер на язык. Ребята ходили к нему ума занимать, и он не раз помогал им своими разумными советами. За это его прозвали «мерджули» — наставником.

— Скажи-ка, дядя Савва, — громко, так, чтобы слышали все, обратился к нему Энвер, — разве, по-твоему, мы мужичины и достойны шапку на голове носить? Столько протопали по земле, а теперь вот сидим, как покорные овцы, и ждем, в какую преисподнюю нас загонят.

— Что поделаешь, дяденька? — ответил Савва, — В куске хлеба великая сила, как видишь. Известно, голод страха сильнее. И мы теперь глядим в руки этим окаанным и ждем, пока нам швырнут сухую корку! Знаешь ведь, что грабитель, остерегаясь собаки, берет с собой кусок мяса или ломоть хлеба. Уж на что собака верна и предана своему хозяину, а и с ней мясо или хлеб делает свое дело.

Савва обвел взглядом людей. Никто не издал и слова. Один за другим все отвели от Саввы глаза и снова погрузились в свои горестные думы.

Эшелон мчался без остановок всю ночь.

Под утро, когда в вагон начал проникать бледный рассвет, все повскакали и, толкаясь, бросились к окошечку. Никто не знал, что это уже Франция, но те, кто сумел выглянуть, ощутили, что воздух за окном какой-то легкий, светлый, чистый.

В полдень эшелон остановился. Подойдя к окошечку, я приподнялся и прочел на станционном здании: «Бельфор». Как я потом выяснил, мы проехали вдоль «линии Мажино» к югу, оставив позади пограничные земли Лорэн, и переехали через Рейн.

Эшелон перегнали в тупик, неподалеку от станции, в открытом поле.

Пленных вывели из вагонов. Как обычно, вокруг кольцом стали автоматчики.

Гимельблау и Байдингер вытолкнули из строя Хабази и надели на него наручники. Брайтфюсер объявил:

— Вчера майор Пунч приговорил этого военнопленного к расстрелу за оскорбление немецкого унтер-офицера. Сейчас приговор будет приведен в исполнение.

Батальон замер, люди, думавшие, что Хабази вчера был помилован, не верили своим ушам.

— Обыскать! — распорядился Гартман.

Байдингер проверил карманы осужденного, но не нашел в них ничего, кроме самодельной деревянной ложки.

Хабази сохранял хладнокровие. Более того, на его лице блуждала легкая усмешка. Казалось, он все предвидел заранее.

— Исподняйте! — приказал Гартман.

Передо мной плавал туман, в ушах гудело и звенело. Я чувствовал ягучее отвращение к себе, отчаянную злобу на свою беспомощность. Сильнее всего презираешь себя, когда на твоих глазах творится вопиющая несправедливость, а ты не можешь защитить ее жертву. Я поискал взглядом майора Пунча, но он отсиживался в вагоне.

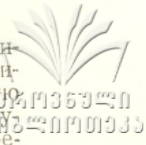
Гимельблау и Байдингер схватили осужденного под руки и отвели ко рву. За ними проследовало отделение солдат. Хабази шел твердой поступью, со вскинутой головой, широко расправив могучие плечи. Он словно хотел, чтобы и друзья, и враги запомнили его таким. Мне припомнился увиденный как-то раненый орел. У него были связаны ноги, его волокли на веревке, но он не выглядел жалким.

Байдингер остановился у рва и хотел завязать осужденному глаза. Однако Хабази не дался — хотелось ему, вероятно, видеть друзей до последнего.

Выстрела я не услышал. Когда передо мной рассеялась пелена, я увидел Байдингера с автоматом, поднятым стволом вверх. У его ног билось в конвульсиях могучее тело, а он со злобой наблюдал, как не хочет умирать человек. Гимельблау поспешно выхватил из кобуры «вальтер», выпустил две пули в голову Хабази, наклонившись, пощупал у убитого запястье и пошел за Байдингером. Унтер вышагивал небрежной, развинченной походкой, ни на кого не глядя; однако, проходя мимо меня, он подмигнул мне исподлобья и зло-рдно ухмыльнулся.

Зарыть труп приказали обер-ефрейтору Финке, нашему подпольщику. Он вызвал в помощь себе Ваню Берошвили, Энвера, Гамрекели, Асламбека и Савву — хотел дать им возможность проститься с товарищем. Они опустились на колени и один за другим приложились губами к еще теплomu лбу побратима.





Вано Берошвили неподвижно застыл над покойником. Высокий, крепко сбитый, с широкой, будто высеченной из цельного камня грудью, он в своей шнели с ловко подоткнутыми, как у чохи, полами походил на туго натянутую тетиву. Обветренное лицо его окаменело, а глаза горели огнем. Как и другие, он не плакал — слезы у всех давно иссякли. До крови прикусил побелевшие губы, Вано нагнулся, оторвал доскуток ворота от рубашки Хабази, пропитал ее кровью погибшего и сунул доскуток в карман.

В плену рождалась какая-то особая дружба между людьми, преисполненная трогательной взаимной заботы и участия, каждый отдавал товарищам свое нерастраченное братское, отцовское и сыновнее тепло, прикрываясь им, как щитом, от вражеской жестокости. Жизнь в плену не стоила и ломаного гроша, и каждый, не задумываясь, пошел бы на смерть за другого.

— За последние три месяца он — сто двадцать шестой! — нарушил молчание Савва. — Сто двадцать шесть убитых, а погибших и умерших вовсе не счесть. Еще несколько месяцев, и всем нам капут.

— Кто мог подумать, что его расстреляют! Если б знали, помогли бы ему бежать! — сказал Нико Саванели.

— Эх, кабы знал, где упадешь, соломки б подостлал, — проговорил Савва.

— Вот сволочь... Дорогие, говорит, вы мои грузины, а могилы роет! — кипел Энвер.

— Да они целую ночь вино хлестали! — горько произнес Савва.

Перед отправлением эшелона майор Пунч пригласил в свой вагон офицеров и кое-кого из «видных», по его разумению, пленных и стал сокрушенно изливаться перед ними в своих чувствах.

— Объясните, пожалуйста, моим дорогим грузинам, что я скорблю вместе с ними. Я отлично понимаю, как тяжело такому маленькому народу терять хоть одного соотчича. — У него увлажнились глаза, и он, вытащив из кармана платок, утер слезу. — Но, поверьте мне, я не виноват. Как же мне было поступить иначе, ведь он покушался на жизнь немецкого солдата! Вам известно, что мы находимся во враждебном нам государстве, а это требует от нас особенной жесткости и бдительности. Я, правда, друг грузинам, но прежде всего я слуга страны и солдат своей армии.

Пунч был не столь уж глуп и понимал, что если человек лишен права свободно выражать свои мысли и чувства, если человеку не дано быть вольным в своих поступках, то ему нельзя доверять, а следовательно, остается только быть по отношению к нему беспощадным.

## 2

О существовании города Кармо мы узнали только после того, как нас туда доставили. В этом повинны не наши слабые познания в географии — Кармо, как выяснилось, еще лет сорок назад был небольшой, безвестной деревушкой. Но когда здесь открыли залежи каменного угля, столь ценного для Франции, маленький кантон Лангедона быстро разросся.

Сюда провели железную дорогу, построили стекольный завод, и Кармо сделался одним из промышленных центров каменноугольного бассейна Аквитании. К началу войны городок насчитывал до тридцати тысяч жителей и давал значительный процент добываемого во Франции каменного угля. И все же внешне Кармо походил на большую деревню и имел, как все маленькие горняцкие поселки, довольно унылый вид.

Пленных обычно размещали где-нибудь за городом в бараках или палатках, приставляли к ним охрану. Но тут батальон поселили в бывшей школе и, что было и для меня, и для всех других совершенно неожиданно, освободили от охраны. Но было, правда, установлено городское круглосуточное патрулирование и посты у всех выездов из города.

Немцы явно заигрывали с пленными. Им раздали кое-какую поношенную одежду и грубо заплатавшую старую обувь. Улучшилось и питание. Три раза в день раздавали горячую пищу. Майор Пунч держался прямо-таки заботливым отцом. Он без усталости хлопотал и ездил то в Альби, то в Кастр или Тулузу, изыскивая продукты для дополнительных пайков. Пленным объявили, что они могут несколько дней отдохнуть, но строго наказали не заводить никаких знакомств и вообще с местным населением не являться.

Как оказалось, месяца два назад местные шахтеры — в большинстве своем иноземцы, главным образом из поляков, переселившиеся сюда в свое время по контракту, — объявили забастовку. Многие были расстреляны, брошены в тюрьмы и лагеря, кое-кому удалось бежать и укрыться в лесах.



Шахты замерли. Французы кричали, писали на стенах: «Ни кусочка каменного угля бошам!». И дело было не только в том, что немцы сварили угляем свою оккупационную армию во Франции, свои железные дороги, железные предприятия, наконец, все Средиземноморское и Атлантическое побережья, но еще и в том, что они, безразличные к национальному богатству и к будущему покоренной страны, вели хищническую добычу и, не завершив одной шахты, бросали ее и переходили к другой.

Вано, Гурам и Энвер, когда я им все рассказал, прямо-таки остервенели. — Не хватало еще, чтобы вся Европа обозвала нас штрейкбрехерами! Какой же найти выход? Если пленные не выйдут на работу, их расстреляют...

Время не ждало, необходимо было действовать.

Я то с Гамрекели, то с Берошвили или Энвером стал выходить в город. Пытаясь заговорить с кем-нибудь, мы мотались по городу, но от нас молча отходили, не желая отвечать, и мы возвращались ни с чем.

Набравшись смелости, мы с Вано выбрались за город и стали прогуливаться по шоссе. Мы заглядывали поверх каменных оград в чужие дворы, подолгу простаивали у дверей сложенных из камня особнячков, приглядывались к прохожим и наконец, выбившись из сил, присели у дороги в надежде, что хоть кто-нибудь сжалятся над нами, подойдет и спросит, что мы в этих краях потеряли. Но никто не хотел и глядеть на нас. Люди ходили хмурые, озабоченные, а от нас попросту шарахались. Нетрудно было понять, что немцев здесь боятся, как лютых зверей. Даже столкнувшись с нами нос к носу и насильно улыбнувшись, люди тут же исчезали, как привидения. А улыбаться им, как выяснилось, было необходимо. Несколько месяцев назад одного каменщика жестоко наказали за то, что он, завидя немца, выгонял на дорогу своего осла и заставлял его реветь. Ловя на себе гадливые взгляды, немцы не могли не ощутить внутреннего сопротивления местных жителей.

Я несколько раз, будто желая узнать то или иное французское слово, что, как мне думалось, должно вызвать к нам симпатию, останавливал встречных вопросом: «Скажите, месье, как это по-французски называется?». Однако встречные бурчали в ответ что-то невнятное и торопливо уходили.

Мы впали в полное отчаяние. Немцы были предусмотрительны: еще до нашего прибытия они распустили слух, что сюда придут преданные им «азиатские людоеды», которые перегрызут горло каждому, кто проявит хотя бы незначительное неповиновение.

Издавна известно, что никакому врагу не осилить тебя, если в твоём собственном доме не сыщется изменника. И вот тут-то сыграли свою неприглядную роль петеновцы, ставшие верными подручными оккупантов. Бывало, какой-нибудь француз предлагает помочь пленному пробраться к маки — партизанам, а потом сам же выдает его полиции. Но не раз случалось и обратное: французский патриот, по-настоящему желавший помочь пленному, сам попадает в ловушку, расставленную для него подосланным агентом гестапо. И тогда расправлялись с целой деревней. Иногда какой-нибудь безродный отщепенец проникал в партизанский отряд, а потом указывал туда путь эсэсовцам. И если учесть еще, что во Франции строжайше выполнялись приказ Гиммлера «О коллективной ответственности» и декрет «Кугель», согласно которым за одного должны были держать ответ сотни, а пленный при попытке к бегству расстреливался на месте, то можно понять, в каком безнадежном мы были положении. Но что оставалось делать?! Вопреки всему мы продолжали блуждать по городу и его окрестностям, пытаясь пробить брешь в недоверии местных жителей.

Частенько на глаза попадались выведенные прямо на тротуарах, на стенах домов, в туалетах и на заборах надписи: «Смерть бошам!», «Да здравствует де Голль», «Петена в яму!», сопровождавшиеся какими-то таинственными приписками и неизменно одним и тем же знаком «V» (виктуар — победа). Кое-где эта огромная буква была выведена во всю стену или на всем переходе через улицу. Смелчаки, написавшие эти лозунги, находились где-то рядом, поблизости, но как их стыскать?

Я подумал, что, быть может, этих отчаянных парней удастся встретить в одном из многочисленных ресторанчиков и кафе. Приглашу распить стаканчик-другой вина, подумал я, а там разговоримся, можно будет попробовать намекнуть, позондировать почву. Ну а если даже нарвусь на провокатора, то меня как «немца» трудно будет в чем-нибудь уличить: скажу, что сам прощупывал собеседника.

Кафе и ресторанчиков было хоть отбавляй, но все оказались забиты немцами! Наконец мы с Берошвили нашли маленькое кафе, где нам после небольшого ожидания удалось раздобыть места. Официант принес аперитив —



какую-то безвкусную и бесцветную жидкость, и мы, медленно потягивая напиток, стали ждать, не зайдет ли кто-либо из французов. Но перед нами выросли Гимельблау и Байдингер. Остановившись в недоумении, они посмотрели вали то на меня, то на Берошвилли. Я толкнул Вану ногой — он вскопичи вытунулся.

— Нашел куда приволочь этого!.. — не выдержал Гимельблау.

— Я взял его с собой с разрешения майора.

— Ты очень разбогател, что ли?

— Да, как видите. — Я рассмеялся.

— Тогда закажи красного вина! — уже более мягко сказал Гимельблау.

— Что ж, я не прочь.

— А ну-ка, марш в угол! — прикрикнул Байдингер на Вану. — Постоишь там и подождешь нас.

Немцы сели. От обоих несло спиртным, они уже хорошо хлебнули. Гитлеровцы тоже целыми днями слонялись по городу, сбывая пайковые сигареты, шоколад, хлеб.

— Гарсон, — крикнул по-французски Гимельблау, — пару бутылок красного, жареное мясо и сыр!

— Вино, пожалуйста, а мяса и сыра не имеется, — вежливо ответил официант.

— Как не имеется?! — обозлился Гимельблау. — Для партизач небось все есть?!

— Я могу вам подать, месье, жареный картофель, — смиренно предложил официант. Он был тощ и стар.

— Ладно! Подавай вино и картофель! — смилостивился Гимельблау. — Ну и мошенники! — сказал он, повернувшись к нам. — У них, братец ты мой, все есть, да только прячут, не хотят, мерзавцы, брать оккупационные марки.

— Франция — вырождающаяся страна. Все сто процентов населения — дегенераты, — заявил Байдингер.

— Эти идиоты вообразили, что наше дело швах, вот и задрали носы, — продолжал фельдфебель. — А посмотрели бы вы на них в сорок первом — я тогда побывал здесь. Они на задних лапках ходили!

Официант подал вино и жареный картофель. Гимельблау попробовал вино и довольно причмокнул. Не знаю, был ли ему знаком «Фауст», но он высокопарно изрек:

— В каждом немце живет ненависть к французам, но французское вино он пьет с удовольствием.

— Француз тупее и невежественнее негра, упрямее быка и неблагодарнее свиньи! — выкрикнул Байдингер.

Несмотря на то, что дела немцев шли вкривь и вкось, они все еще куражились. На Англию только-только были сброшены «Фау-один» и «Фау-два», и они верили, что в самом ближайшем будущем в Германии должно появиться новое сверхмощное оружие. Они хвастались «Атлантическим валом», развесив уши, внимали утешительным радиокомментариям генерал-лейтенанта Дитмара и, главное, все еще продолжали верить в Гитлера.

Изядно заложив за воротник, Гимельблау стал излагать собственный план освоения Франции:

— Тут следует открыть побольше борделей, этим потаскухам большие ничего не надо. За этим последуют импотенция, бесплодие, разрушение семьи. А когда они выродутся, мы окончательно приберем к рукам эту богатую, но бестолковую страну.

Мы вышли из рестораничка. Байдингер остановился, чтоб прочитать свежее объявление. Оно извещало о расстреле француза, осмелившегося сплунуть в ту сторону улицы, по которой шли два немецких солдата.

Гимельблау и Байдингер в благодарности за мое угощение сразу же доложили майору Пунчу, что я водил с собой на прогулку одного из пленных. Они и без того косились на меня — я жил не в гостинице, как все немцы, а со своими. Хотя Пунч и не сделал мне внушения, но положение мое осложнилось. Продолжать вылазки в город было рискованно, и на следующий день мы сложились только вокруг да около школы, где невозможно было встретить француза — появляться здесь гражданским лицам строжайше воспретили.

Через улицу, в густом саду, виднелся крытый красной черепицей двухэтажный особняк, возле которого прилеплась похожая на барак пристройка. Прохаживаясь вдоль сада, я несколько раз заглянул внутрь — возле дома никого не было. Наконец, не выдержав, я приоткрыл калитку и вошел. Двор выглядел запущенным, дорожки давно никто не посыпал. Под деревьями валялись палые листья, сухие ветки, фруктовая падалица. Я огляделся, бросил взгляд на занавешенные гардинами окна и приостановился в нерешительно-



сти. Но стоять долго было невозможно — поблизости размещалась комендатура. Немцы могли меня оттуда приметить, им, конечно, показалось бы подозрительным, что я пробрался в чужой сад. А что сказать, если навстречу мне выйдет хозяин дома? Я покосился в сторону Вано, угрюмо сидевшего на скамейках школы. Он энергичным взмахом головы показал, чтобы я шел дальше. Однако тут появились немцы. Я выскочил из сада и стал бродить вокруг особняка. Обойдя его, увидел, что к дому вела дорога и с другой стороны, тут сад не был огражден и соприкасался с улицей.

Я снова вошел в сад. В просветах между деревьями показалась утопающая в цветах терраса, к которой вела лестница в несколько ступеней. На террасе стоял плечистый мужчина в пиджаке внакидку. Заметив меня, он с хитрецей улыбнулся и замотал головой. Меня это удивило, и я решил сделать вид, что забрел сюда случайно.

Вернувшись к Вано, я рассказал ему, что увидел хозяина особняка и что он довольно приветлив. Вано вскочил и потащил меня к саду.

Незнакомец по-прежнему стоял на террасе и, улыбаясь, кивал нам, как бы приглашая войти.

Отступать было уже нельзя. Пока мы шли к дому, я заметил на увятом плечом деревянном балкончике барака нескольких девушек, склонившихся над швейными машинками. Увидев нас, они повскакали и упорхнули в комнату.

Хозяин спустился с лестницы, встретил нас, вежливо поздоровался и спросил:

— Ну, что принесли?

Я не понял, о чем идет речь.

Хозяин, многозначительно улыбаясь, стал делать руками непонятные знаки, в которых я заподозрил пароль. Убедившись, что мы не понимаем, он пригласил нас в дом.

— Есть у вас сигареты, сигары, шоколад, сахар? — спросил он, когда мы расположились в мягких креслах у круглого столика.

— У нас ничего нет, — пробормотал я.

Хозяин усмехнулся.

— Как нет? А военный паек?

— Нам самим едва хватает.

— М-да! Дела неважные. А ведь год назад всего было вдоволь.

— Да-а, неважные дела, — повторил я, чтобы поддержать разговор.

Хозяин удивленно посмотрел на меня.

— Но... все-таки хоть что-нибудь вы сможете достать? Я за платой не постою. Хотите, французскими франками, хотите — в обмен на вино, коньяк? Останетесь довольны.

Что-то мне подсказало, что надо непременно соглашаться.

— Посмотрим, — сказал я, — кое-что, например, сигареты скорее всего, удастся раздобыть.

Хозяин повеселел.

— А ваш спутник, он, должно быть, не немец?

— Нет, это советский военнопленный, — сказал я тихо, со значением, как бы намекая на то, что нас с Вано что-то связывает.

Хозяин явно не понял, но понимающе улыбнулся.

— Как вы полагаете, надолго вы здесь задержитесь?

— Думаю, что да.

— Очень приятно. Надеюсь, мы подружимся. Меня зовут Эмиль Бланша, я рантье.

Он вышел.

Я улыбнулся Вано.

— Чего ждешь? Скажи, что нам надо пробраться в леса! — шепнул Вано.

— Ты что, обалдел?! Как можно так с бухты-барахты?! — огрызнулся я.

В комнате был легкий беспорядок, чувствовалось отсутствие женской руки. Но, судя по мебели, дорогим коврам, по каждой мелочи, хозяин не знал недостатка в деньгах и любил комфорт.

Выхоленный, пышущий здоровьем, с тоненькими черными усиками на располагающем жизнерадостном лице, он обладал той непринужденностью, которая облегчает сближение с незнакомыми людьми. И когда он, улыбаясь, вернулся с подносом, уставленным тарелочками, я дружески ему улыбнулся. Мило суетясь, месье Бланша разместил на столе графинчик с коньяком и бутерброды с тонко нарезанными ломтиками колбасы, ветчины и сыра.

Мы с удовольствием перекусили и договорились о встрече вечером следующего дня.

Выйдя во двор, мы слышали стрекот швейных машин и девичьи голоса. Наверное, выпитый коньяк придавал нам смелости — поглядев друг на друга, Ваню и я приблизились к балкону барака.

Не замечая нас, девушки продолжали шить. Две светловолосые усердно строчили на машинках, ловко направляя левой рукой материю; одна, хмурая, в черном платье, раскраивала материал прямо на полу, и еще одна, бледненькая худышка в хорошеньком пестром переднике, сидела на низенькой табуреточке и забавлялась, играя с пушистым котенком. Котенок, опрокинувшись на спину, хватался лапками за тонкий пальчик девушки и притворно его покусывал. Приподняв котенка за лапы, девушка бросила его к себе на колени и продолжала играть. Она клала свою руку на лапку котенка, а он, выпростав лапку, снова оускал ее на руку девушки.

Одна из швеек подняла голову, разглядела сквозь выющийся меж столбами плещ меня и Ваню и воскликнула:

— Санта Мария, албош!<sup>1</sup>

— Арико вер!<sup>2</sup>

Швейки оставили машинки, кинулись к комнате и скрылись за дверью. Преодолев робость, я подошел поближе и почтительно поздоровался по-французски:

— Добрый день.

Худышка спустила котенка на пол и что-то растерянно прошептала, а хмурая, в черном платье, резко вскинула голову и мрачно сверкнула огромными черными глазами. Я онемел от этого свирепого взгляда, как застигнутый на месте преступник.

— Что вам угодно? — холодно спросила она.

Я понял вопрос и, запинаясь, объяснил, что мы хотели бы попросить учебник французского языка.

Наверное, вид у меня был очень жалкий, потому что на лице ее выразились брезгливость и удивление.

— Учебник французского языка? — со странной горечью переспросила она. — Для чего он вам? — И отвернулась.

Худышка, перебирая пальчиками коралловое ожерелье, с приветливым любопытством смотрела на меня узенькими, раскосыми, как у китайки, глазами. Она смотрела, как могут смотреть на человека дети — с наивной простотой и даже с жалостью. Задерживаться более не стоило.

Отойдя, мы слышали смехи и перешептывание.

Посоветовавшись, мы с Ваню решили завоевать расположение месье Бланша и тотчас приступили к делу. Пока я вертелся среди немцев, Ваню переговорил с руководителями групп. Они собрали довольно много сигарет и наскребли, грамм по грамму, несколько килограммов сахара. Мне показалось, что этого мало, и я переговорил с обер-ефрейтором Финке — он служил по продовольственной части. Узнав от меня, что наклеивается стоящее дело, он обрадовался.

— Я с вами во всем, — сказал он, — забирайте шоколад и вообще все, что вам нужно. Только давайте сматывать, пока не начались проверки.

Тут меня осенило. Я вошел в школьный двор, перевершив кучу сваленных под открытым небом книг, нашел учебник французского языка. И сразу же взялся за него. В лагере со мной сидели два француза. В свободное время они учили меня своему языку и остались довольны моей понятливостью.

За пару-другую часов я возобновил свои скудные познания во французском и более или менее подготовился к следующей встрече со швейками.

В полдень пленных построили. Майор Пунч объявил, что с ближайшего понедельника они приступят к работе. Будет даваться усиленный паек, а для тех, кто проявит особенное усердие, — денежное вознаграждение и вольное хождение в пределах города. Посмотрев на Кавкасидзе, майор добавил:

— Ну, а с вами, фюрст, посмотрим.

Кавкасидзе промолчал.

— А как ваши дела, Мюллер? — спросил Пунч.

— Пленные в восторге от вас, — ответил я, — говорят, что в ответ на ваше добро будут очень стараться. Я им рассказываю о вас, как об одном из лучших представителей нашей замечательной нации.

Пунч расплылся в улыбке.

— Продолжайте, Мюллер, продолжайте, входите к ним в полное доверие. Я щелкнул каблуками и наклонил голову.

<sup>1</sup> Албош — немкура (франц.).

<sup>2</sup> Арико вер — зеленый горошек (франц.).



Подпольный комитет батальона, собравшись после этого, решил не отказываться от работы на шахтах, выказывать усердие и вообще вести себя так, чтобы у немцев не возникло никаких подозрений.

Одна лишь получилась загвоздка — батальон разделили: две роты, в которых были Гурам Гамрекели и Энвер, отправляли на шахты в Сан-Бенуа, одну роту — в Вальдариас и еще одну — в Ла-Дреш. Эти шахты были разбросаны вокруг Кармо в радиусе пяти-шести километров, и поддерживать связь с попавшими туда товарищами будет нелегко. Наладить связь предстояло мне самому.

В конце дня я и Ваню, нагруженные сахаром, сигаретами и шоколадом, пробрались во двор Бланша. Он поджидал нас, стоя на террасе, и приветственно помахал рукой. Склонившиеся над машинками девушки на этот раз не удрали и продолжали работать, а милостивая худышка, кажется, улыбнулась.

Мы очень угодили месье Бланша. Взглянув на сигареты и шоколад, он от избытка чувств даже обнял нас и вытащил в обмен два килограмма завернутого в вощеную бумагу копченого сала, три бутылки коньяку и полторы тысячи франков деньгами. В то время килограмм сала стоил не менее тысячи франков. Однако я сказал, что мы отказываемся принять от него что-либо. Бланша оторопел.

— Как! — воскликнул он, — Я не могу принять безвозмездно такие дары!

— Прошу вас, в залог нашей дружбы, — попросил я.

— Нет, дорогие мои, нет и еще раз нет! Подарки — это ярмо. Настоящая дружба любит честный расчет.

Он столько болтал, так суетился, так искренне беспокоился, что я, забыв о всякой осторожности, брякнул:

— Вы могли бы помочь нам, месье Бланша?

— Я?! Какую помощь я могу вам оказать, дорогие друзья? — запинаясь, с удивлением проговорил он.

Спохватившись, я ответил туманно:

— Мы имеем в виду, что вы можете нас свести кое с кем.

— А понял, понял! — Он весело расхохотался. — О чем говорить, это я устрою.

— Правда? Вы не шутите?! — вскрикнул я, чуть не задохнувшись.

— Что, здорово припекло? Сказали бы сразу.

— Мы не знали, с какого края подойти..

Бланша, продолжая хихикать, лукаво поглядывал на меня, поглаживая свои поблескивающие от бриллиантина волосы.

— Ну это, слава богу, у нас проще простого. Могу, если хотите, пригласить сюда, могу просто познакомить, а там ваше дело — есть гостиница, а можно устроиться где-нибудь в лесочке.

— Кажется, клюет, — шепнул я Ваню.

Заржав, месье Бланша сбегал на кухню и притащил оттуда горячий глинтвейн.

«Гостиница? В гостинице встречаться опасно, — размышлял я, — конечно, лес лучше. В лес-то нам и надо будет уйти».

Бланша разлил глинтвейн.

Когда мы осушили по бокалу, он подмигнул мне.

— Мы, французы, умеем дружить и выручать друзей. Ту комнату, — сп кивнул на дверь, — я охотно уступлю вам, там как раз две кровати. Можете приходить с кем угодно. Раз вы пожелали довериться мне — что ж, не пожалеете.

На этот раз опешил я.

— Вы о чем, собственно, месье Бланша?

Он глянул на меня, все еще продолжая усмехаться.

— Как о чем? Разумеется, о прекрасных женщинах, без которых нам не прожить и дня.

Я посмотрел ему в глаза: в самом деле он не понял или притворяется, не доверяя нам. А с чего он должен доверять? Я немец, спутник мой — пленный. На пленного можно донести, но идти доносить на немца?.. Не рискнет. Приняв сахар, шоколад и сигареты, он увяз..

Когда пары глинтвейна ударили нам в голову, я покосился на ничего не понимавшего Ваню — он ерзал в кресле от нетерпения — и, в упор взглянув на Бланша, спросил:

— А не приходилось ли вам слышать, месье, о партизанах? Есть они поблизости?

— Партизаны? — Бланша побледнел.

— Да.

— Что вы, что вы? Какое я имею отношение к партизанам? — Он даже вздрогнул.

— И все-таки я надеюсь, что вы нам поможете, месье Бланша, — я продолжал наступать.

— Но помилуйте, на что вам сдались партизаны? — помолчав, Бланша каким-то не своим голосом.

Если открыться ему, он, быть может, разоткровенничается. Но он хитер — с ним надо держать ухо востро и сохранить путь к отступлению. И я спросил, улыбаясь:

— Значит, вы никак не причастны к Сопротивлению?

Он замахал руками:

— Что вы! Упаси бог! В жизни и без того хватает забот и огорчений..

— Пусть так. Я вам верю. Но все-таки, помогите мне во имя нашей дружбы, наметьте хотя бы, каким путем..

Бланша задумался, подперев голову руками. Видно, нелегкую я ему задал задачу.

— Всем нам война поперек горла. — Он вздохнул. — Однако похоже, что мы осуждены господом богом на целый век. И если не научишься приспособливаться к войне, лучше и вовсе не жить.

— Война, месье, приходит к концу. Слабой стороне не долго еще держаться перед таким натиском! — сказал я.

— Какую сторону вы называете слабой? — осторожно переспросил Бланша. — Я не вижу пока, чтобы какая-нибудь из сторон выдохлась.

— Вы не видите? А вы не задумывались, почему для работы на шахтах пришлось пригнать людей бог знает откуда?

— Как, разве они приехали не добровольно?

— Что вы, месье? Кому охота покидать свою родину и забираться куда-то к черту на кулички?

— Вы ведь немец? — вдруг спросил он.

— Немцы, как и французы, бывают разные, — уклончиво, но с намеком, ответил я.

Он снова задумался.

В дверь постучали. Бланша извинился, вышел и вернулся с письмом в руке. Он тут же вскрыл конверт и, явно волнуясь, стал читать. Потом снова перевернул письмо и наконец отложил его, чем-то расстроенный.

Я незаметно покосился на конверт — обратный адрес был парижским.

Уходя, я еще раз попробовал закинуть удочку, но Бланша ничего определенного так и не сказал. Однако мы договорились, что на другой день снова придем к нему.

Когда мы появились во дворе, девушки посмотрели на нас. Мы подошли поближе, и я поздоровался с каждой. Ваню вслед за мной четырежды повторил:

— Бонжур, мадемуазель!

Они прыснули, переглянулись, словно застыдившись, и вновь склонили головы к работе.

Светловолосые девицы строчили на машинках, худышка с раскосыми глазами что-то объясняла, заглядывая в журнал мод, своей подруге в черном платье. У их ног дремал, свернувшись в клубок, котенок.

На столе были в беспорядке разбросаны разноцветные нитки, ножницы, наперстки, сантиметры.

— Как это по-вашему называется? — спросил я, указав глазами на ножницы.

Худышка тихо ответила.

— А это? — я показал на иглу.

— А вот это?

Спрашивать так можно было без конца.

Худышка приоткрыла ящик стола, что-то достала оттуда и положила на колени. Одна из блондинок бросила ей резкое слово, назвав по имени — Иветт.

Худышка растерянно покосилась на меня.

— Мадемуазель... я... вы... — Ваню попытался что-то сказать девушке в черном платье.

Та строго взглянула на него.

Иветт поднялась с места — она была совсем крошечная и хрупкая — и, решительно протянув мне книжку, еле слышно проговорила:

— Вот, месье, учебник французского языка.

Я тут же, на перилах, раскрыл книгу и стал спрашивать, указывая на рисунки, как что по-французски называется.

Иветт полушепотом читала мне подписи под рисунками, стараясь отчетливее произносить слова. Я повторял. Когда я ошибался, она улыбалась и, покачав головкой, повторяла слова, водя пальчиком по строчкам. Порой она и сама меня спрашивала, как то или иное слово говорится по-немецки. Неловкость таяла.





— Иветт! — поднявшись, прервала нас одна из блондинок. — Нам пора. Иветт, поглядев почему-то на меня и на Ваню, будто от нас зависело, что ей ответить, сказала:

— Да, идите.

Как мы позже узнали, блондинки приходили на работу из ближней деревни и поэтому им надо было спешить. У Иветт они учились кройке и шитью. Она и сама лишь недавно закончила школу модисток, но платья ее так всем нравились, что у нее не было отбоя от клиенток.

Девушки перенесли швейные машины в комнату, навели порядок на столе и, простившись, ушли.

Ваню качнул головой, давая знать, что не худо бы отправиться вояжировать и нам, но мне было хорошо с этой милой девушкой, и я совсем не хотел уходить. Поскольку и немцы, и пленные сегодня были свободны от дел, нас вряд ли могли хватить. Девушка в черном ушла в комнату. Ваню присел на ступеньках. Я старался не наскутить своей учительнице и, признаюсь, совсем не прочь был ей понравиться.

Когда начало смеркаться, Иветт, глянув с опаской в сторону мраморной террасы, поколебавшись, пригласила нас в дом. Мне показалось, что она собирается нам что-то сказать.

Комната была обставлена небогато, но уютно и буквально сверкала чистотой. На стенах, оклеенных веселенькими обоями, пестрели коврики ручной работы, висело несколько фотографий в рамках, барометр, часы. Девушка в черном вязала.

— Это моя подруга Кристина, — сказала Иветт.

Кристина подняла на нас свои грустные глаза и снова склонилась над вязанием.

Ваню молча прислушивался к нашей с Иветт беседе. Иногда я переходил на немецкий, иногда помогал себе жестами. Иветт была явно расположена к нам. Я спросил у нее:

— Скажите, мадемуазель, как вы относитесь к нашему появлению в Кармо?

— Очень плохо, — прямо ответила она.

— Мы и сами не рады, мадемуазель, — сказал я.

— Вы думали, что нам ничего о вас не известно? — спросила она. — В нашем бараке живут шахтеры. У меня и отец, и брат горняки.

— Если это так, мадемуазель, почему же все нас избегают?

Иветт остановила на мне долгий взгляд, потом покосилась на Кристину. Та, насупившись, вязала, хотя, по-моему, прислушивалась к нашей беседе.

Вдруг моя собеседница смело посмотрела на меня и решительно спросила: — Мы, месье, сразу поняли, что ваш друг не немец. Но вы, вы-то немец?

Ну и мальшк! Попробуй ответить на такой вопрос. А ведь от моего ответа зависело, как я понимал, многое. Я попытался увиливать, шугливо предложив:

— Попробуйте сами отгадать, приглядитесь ко мне и угадайте, кто я.

Она в замешательстве потупилась и неопределенно повела своими подетски узенькими плечиками.

В комнате было тихо. Как-то очень напряженно тихо. Я учуял сердцем, что главное, из-за чего мы пришли сюда, могло сейчас решиться. И словно в прорубь кинулся:

— Эта тайна, мадемуазель Иветт. Вы прикоснулись к ней... Мне у вас хорошо. Как дома. Я вам и мадемуазель Кристине верю. Вы нас не предадите, я знаю. Я и мой друг — земляки. Вы слышали ведь, что мы перекинулись словами на родном языке...

Лицо Иветт оживилось, глаза посветлели.

— И я вам верю, — улыбнувшись, сказала она. Глаза ее сделались еще уже, а на сморщившемся носике обозначились веснушки. Она не была красива, но чистота, кротость, открытость взгляда делали ее неотразимо привлекательной. — До вашего приезда по городу прошел слух, что сюда везут чуть ли не зверей, которых надо остерегаться.

Я рассмеялся.

— Мы все были до смерти перепуганы, — продолжала она. — Вы, наверное, не знаете, что здесь была забастовка. Боже мой, что с ними тогда сделали! Это ужас! Теперь все притаились, сидят по домам, боятся даже показаться на улице.

— Мы это знаем, мадемуазель Иветт. Мы все тут исходили за эти дни, но всюду от нас шарахались, как от прокаженных.

— Вчера мы поразились вашей скромности. Немцы так себя не ведут. Моим подругам понравился ваш товарищ. Нам стало жаль его, у него такое горестное лицо.



Показалось мне или в самом деле Кристина прошептала:

— А они правда симпатичные.

Но когда я оглянулся, она по-прежнему сидела с опущенной головой.

Иветт. — Вы давно знакомы с месье Бланша? — осторожно заинтересовалась

— Со вчерашнего дня.

— Ну и как?... Понравился он вам?

— Он как будто добросердечный человек.

Послышались шаги.

Иветт откинула занавеску и выглянула во двор. Было темно. Мы могли опоздать на вечернюю поверку.

Вдруг распахнулась дверь, и в комнату энергично вошла яркая красивая женщина со жгучими черными глазами. Увидев меня и Ваню, она удивилась и сердито сказала:

— Ах вот ты где, Кристина! А я столько времени ищу тебя!

— Это мама Кристины, — пояснила Иветт.

— Мадлен, — улыбувшись, отрекомендовалась женщина. Очень молодая, статная, пышногрудая, с товкой талией и опаленным солнцем стройными сильными ногами, она была настолько хороша, что от нее невозможно было отвести взгляд. Похожа на Кристину так, что их можно принять за сестер-близнецов. Только мать отличалась какой-то особой кошачьей грацией и взгляд ее крупных жгуче-черных глаз был плотоядным, не таким, как у дочери.

Кристина кивнула нам и последовала за матерью.

Иветт стояла, о чем-то задумавшись, потом порывисто склонилась к моему уху и прошептала:

— Я советую вам остерегаться месье Бланша.

— Что вы, мадемуазель?!

— Во всяком случае, не посвящайте его в свои тайны.

— Поздно! Он уже многое знает.

— Вы очень поторопились, месье, — в волнении проговорила Иветт.

— Вы думаете, он может донести?

— Не знаю, но месье Бланша спекулирует и... говорят, он агент гестапо! Я похолодел. Но не ошибается ли эта славная девушка?

— Я расскажу вам все, месье, — задумавшись, проговорила Иветт. — Все... Если я не сделаю этого, бог накажет меня.

Она заговорила. Я внимательно слушал. Если не понимал, просил повторить. Кое о чем я попросту догадывался, улавливая знакомые мне слова и соединяя их по смыслу.

— Этой осенью Бланша донес на моего брата и на отца Кристины, — говорила Иветт. — Отец Кристины был коммунистом и руководителем партизанского отряда. Мой брат и Кристина помолвлены, они с детства любили друг друга. А Бланша это знал. Он... — Иветт запнулась. — Он близкий друг мадам Мадлен. Он знал, что Кристина и Франсуа должны пожениться, и все-таки не остановил Бернара, племянника мадам Жинеты, своей жены, который жил у них в доме, когда тот стал приставать к Кристине. Вы не представляете себе, какой Бернар распутник, какой грязный мальчишка! Когда пришли боши, он поступил в полицию, и Кристине совсем не стало от него житья. В доме у месье Бланша шли бесконечные попойки, а мадам Жинета свела дружбу с немецкими офицерами. Она доставала через них дефицитные товары и потом перепродавала их вдесятеро дороже своим же. Нас Бланша раньше не замечали, мы для них просто не существовали, а тут они стали за нами следить, особенно за Франсуа — у него частенько собирались друзья, такие же, как он, шахтеры...

В комнату заглянула обрюзгшая, небрежно одетая пожилая женщина, в которой, однако, угадывалось сходство с Иветт. Едва кивнув мне и Ваню, она стала жестами показывать Иветт, чтоб та выключила свет. Видимо, по улице проходил патруль. Иветт пробормотала:

— Это моя мама, мадам Сесиль.

И выключила свет.

Мать ее вышла. Иветт продолжала:

— Минувшей осенью отец Кристины, месье Пьеро — он испанец, Пьеро Элисалде, — и наш Франсуа наткнулись на засаду, когда пошли взрывать гараж на берегу Серу. Франсуа и месье Пьеро, укрывшись за стеной гаража, отстреливались. Но их было всего двое. Месье Пьеро убили, а раненого Франсуа схватили... С тех пор Франсуа как в воду канул. Сколько мы искали его! Пошел слух, что Франсуа видели в тулузской тюрьме. Может, это и так. Я потеряла брата, а у бедняхой Кристины в один день отняли и отца, и жениха...





Иветт умолкла. Слышалось лишь, как тикают стенные часы, и от этого тишина казалась особенно тревожной.

Я думал об Эмиле Бланша, в руках которого теперь наша судьба. Не верилось мне почему-то, что он такой подлец — подозрения Иветт могли быть не более как подозрениями.

— Мадемуазель Иветт, а почему вы думаете, что это именно Бланша?..

— Потому что после того дня Бернар совсем обнаглел, не давал Кристине прохода, врывался к ним в дом. А когда ничего не добился, он наговорил на Кристину и ее таскали в полицию.

— Так-то так, но донести мог и другой.

— О-о, вы еще многого не знаете! — вскрикнула Иветт. — С этой мусной семьей люди хотели расправиться сами. Мадам Жинета и Бернар бежали в Париж, а Бланша остался, но он остерегался попадаться кому-нибудь на глаза.

— Они в Париже?

— Да.

Я вспомнил обратный адрес на конверте.

Слышно было, как по улице протопал патруль. Когда шаги стихли, девушка включила ночник, и комнату залило голубоватым, мертвенным светом.

— Бланша всего боится. Быть может, он не посмеет, — почти беззвучно проговорила она.

— Значит, нам надеяться только на его страх?

— Не знаю, что вам сказать. К нему и теперь часто приходят немцы. Он ведь спекулирует. Если вы позволите, я расскажу о вас отцу, у него много друзей... Вы ведь мне доверяете?

— Я верю вам, как самому себе.

— Благодарю вас, — сердечно прошептала она.

Договорившись о встрече на завтра, я взял в руки учебник французского и поднялся. Ваню тоже встал.

— А вы, оказывается, хитрюга, — с улыбкой сказала Иветт. — На что вам учебник, когда вы и так многое понимаете?

— Многие, но далеко не все. Я его возьму, а вы надпишите книжку мне на память.

— Ладно. Только лучше... Распишемся на книге все трое. А книга пусть пока останется у меня.

Она была осторожнее меня, эта девчушка.

Когда мы шли по дорожке, огибавшей мраморную террасу, я разглядел в темноте месье Бланша. Стоя к нам спиной, он поливал цветы. Стараясь ступать неслышно, мы выбрались со двора...

### 3

Среди ночи городок проснулся. Где-то строчили пулеметы, грохотали танки, слышался треск ружейной перестрелки. По коридорам школы загопали вооруженные автоматами Гимельблау, Брайтфюсер, другие унтер-офицеры. С криками они стаскивали пленных с нар, выгоняли во двор и, собрав группами, поручали надзору охраны.

Город был во мраке.

На окраинах заухали взрывы. С шоссе на улицу Верери вошли танки.

В небе вспыхивали осветительные ракеты, которые пускали где-то возле железнодорожной станции, церкви Санта-Мария и площади Жореса.

— Налет партизан! Налет партизан! — выкрикивал Гимельблау, бросаясь со своими унтер-офицерами то в сторону школы, то к комендатуре. Я посылал за ним, пытался подробнее разузнать, что случилось, но он отмахивался от меня. Пленные возбужденно переговаривались. Значит, партизаны здесь есть, значит, они действуют и совсем рядом!

Стрельба приблизилась. Где-то за домом Бланша залаяли пулеметы. Кто-то дико кричал.

Я вернулся в школьный двор. Вслед за мной вбежали Пунч и Гассель.

— Я на вас надеюсь, дорогие мои грузины! — выкрикивал Пунч. — Спокойствие, выдержка, и никуда отсюда ни шагу! Не бойтесь! Мы не дадим напасть на вас! Враг взят нами в клещи!

К рассвету перестрелка стихла. Город молча лежал в предрассветном тумане. Иззябшие, сморенные бессонницей пленные повалились кто где прямо на землю.

Мне все-таки хотелось узнать, что произошло, и я пошел к фельдфебелю. Проходя по коридору, я заметил жавшегося к стене голубоглазого русо-

го парня в полотняной блузе. Рядом с ним стоял эсасовец с карабином. Парнишка дрожал, как попавшая в силки птица. Пытаясь унять дрожь, он стискивал зубы, но все равно продолжал трястись. Стоявшие неподалеку Гимельблау и Байдингер соорудили ему рожи — так бездельники дразнят сидящего за решеткой зверя.

— Эльзасец, — сказал кто-то.

Для парнишки-эльзасца немецкий язык был родным, он понимал все, что говорили, и знал, что его ждет. Задержал паренька накануне, оказывается, Байдингер, когда тот выводил на стене какой-то антифашистский лозунг. Комендант, не раздумывая, приговорил мальчика к расстрелу.

— Решил, солляк, уничтожить Германию?! — закричал, подойдя к эльзасцу, Гимельблау.

Парнишка сморгнул слезы. Он не боялся, он негодовал, что не может преодолеть дрожь. На вид ему было не больше пятнадцати. Как он попал в здешние края? Родители его вряд ли когда-нибудь узнают, куда он исчез.

Кто-то из немцев замахнулся на парня кулаком, и тот невольно прикрыл руками лицо. Байдингер развеселился.

— У французская гнилятина! — скривился он. — После Версаля эти ублюдки, мать их, напустили на нас негров и теперь снова взяли за свое.

В коридор то и дело входили немцы, и каждый раз паренек вздрагивал: уж не за ним ли?

Пленным разрешили разойтись, и они, понурые и молчаливые, разбрелись.

Эльзасца снова отвели в комендатуру на допрос. Гимельблау сказал, что паренек вроде бы оказался партизанским связным. Я пожалел, что не успел перекинуться с ним словечком. Может, все-таки не расстреляют? Заключенных порой только объявляли расстрелянными, а на самом деле переправляли в лагерь, в Германию. Что и как с ними было дальше, никто не знал. Полагали, что так можно еще более устрашить население — ведь после отправки в Германию человека не найти было ни среди мертвых, ни среди живых!

Размышляя обо всем, я решил, что к Бланша надо обязательно зайти вторично и повести себя в зависимости от обстоятельств. Можно попытаться и припугнуть.

Я снова пошел за шоколадом и сигаретами к Максу Финке. Он был очень встревожен и сразу заговорил о том, что его взволновало:

— На что нам еще надеяться? Такие же сосунки, как этот мальчишка, остались у меня дома. И никто не задумывается над тем, что станется с нашими детьми, когда мы проиграем войну. Ни одна страна в мире не пала так низко, как Германия. И несчастнее нас нет, потому что эта грязная шлюха — наша мать.

Я попросил Макса держать ушки на макушке и немедленно оповещать меня о штабных новостях.

Пленных уже должны были вывести на работу. Из Тулузы к нам прибыл оберст Фельд. В сопровождении майора Пунча, гауптмана Гартмана и оберлейтенанта Гасселя он осмотрел шахты, общежития пленных, проверил городские сторожевые посты и вообще весь гарнизон.

Затем немецкий персонал лагеря пригласили на совещание в комендатуру.

Разъяснив вкратце, какое военно-экономическое значение имеет возложенное на батальон задание, Фельд строго предупредил всех, чтобы они неуспешно следили за пленными.

— Мы должны их заставить, — говорил он, — выполнять с немецким усердием все, что пусть и не желательно для них, но зато весьма желательно для нас.

Статный, подтянутый, с грудью колесом и тонкой талией, этот молодой полковник с Рыцарским крестом на шее говорил очень лаконично и деловито, обращаясь к подчиненным с холодной вежливостью. Чувствовалось, что он, прошедший сквозь войну, не знает страха и колебаний и верит в правоту дела, которому служит.

Все, в том числе и майор Пунч, которому полковник годился в сыновья, слушали его с восхищением.

Когда полковник закончил, Пунч с многоречивостью штатского человека начал распространяться о достоинствах грузин, о том, какой это трудолюбивый народ.

— Я всячески стараюсь, — говорил он, — установить с ними дружеские взаимоотношения. Если найти к ним подход, они будут служить нам не за страх, а за совесть.



Благовоспитанный полковник терпеливо слушал майора Пунча, но, улычав минуту, все-таки вставил:

— Герр майор, охотно верю вам, однако обязан предостеречь вас: по опыту знаю, что советские военнопленные ни разу еще не оправдали нашего доверия.

— Но грузины! — воскликнул Пунч.

— И грузины тоже. Не будем далеко ходить: ни для кого не секрет, что Черные леса, Брив, Дордонь давно кишат вашими хваленными грузинами.

Пунч смешался. Фельд смилостивился и сказал старику, что в общем он доволен результатами проверки.

Подбодрившись, Пунч рассказал, как он расправлялся в пути с непокорными, как приказал расстрелять Хабази. Помявшись, он заговорил о Кавка-сидзе:

— Среди пленных есть один князь...

— В Советском Союзе нет князей, — заметил полковник.

— По происхождению. — Пунч снова смутился, но все-таки продолжил: — Как всякий аристократ, да к тому же еще и грузин, он, вероятно, просто болезненно самолюбив и страшно горяч. В пути, вследствие небольшого недоразумения, он отпихнул от себя нашего унтер-офицера. Его следовало немедленно расстрелять. Но в батальоне и без того высокий процент расстрелов. Потому я воздержался от смертного приговора и решил отправить его в концентрационный лагерь. А теперь, когда нам поручено такое ответственное дело, мне кажется целесообразнее послать его работать в шахты...

Фельд пожал плечами и процедил сквозь зубы:

— Хорошо. Расстрелять никогда не поздно.

Перевод Маргариты ГРЖЕНДЗИЦА

*Продолжение следует*



Очерк

# Увлечённые

Леонид  
РОСТОВЦЕВ,  
заслуженный журналист  
Грузинской ССР

Московские встречи

В моем журналистском блокноте — записи о десятках встреч. Каждая из них оставила глубокую мету в памяти и в сердце. Потому что были это встречи с людьми открытыми, умными, деятельными, самозабвенно увлеченными делом, которому посвятили себя и которому служат всю свою жизнь, потому что были это встречи с людьми долга. Мне хочется рассказать о некоторых из них.

## 1. «ТАКИЕ ЛЮДИ УКРАШАЮТ МОСКВУ...»

О НЕМ говорили:  
«Серьезный ученый. Посмотрите, какой нелегкий прошел путь: от рядового инженера до заместителя директора одного из крупнейших в мире институтов...»

О нем говорили еще:  
«Большой специалист. Автор более 130 научных трудов и изобретений. Они широко известны и в нашей стране, и за рубежом...»

И еще говорили о нем:  
«Грузин, уроженец Диди-Джихаиши, а Москва для него — дорогой его сердцу город. Такие люди, как он, украшают Москву...»

Эти лестные слова раздавались по адресу Ивери Варламовича Прангишвили в тот торжественный день, когда сотрудники Института проблем управления Академии наук СССР выдвигали его кандидатом в депутаты Московского городского Совета. Все в один голос сказали тогда, что Ивери Прангишвили достоин доверия москвичей. Его единогласно избрали депутатом. Во второй раз.

Да, поистине, не место украшает человека, а человек — место! Ивери Прангишвили живет в Москве, но — какая разница! — живи он в Красноярске, или в Куйбышеве, или в Алма-Ате, о нем опять же сказали бы, что он украшает свой город, потому что самого его украшают любовь к людям и труд во имя людей. Труд вдохновенный, с непостижимыми взлетами фантазии, с вечным стремлением пробиваться сквозь заросли неизведанного.

...Будни ученого нележки. Они начались еще в ту далекую пору, когда Ивери Прангишвили оканчивал Грузинский политехнический институт и вы-



двинутые в дипломной студенческой работе идеи заинтересовали членов комиссии. Темой дипломной работы Ивери избрал устройство автоматического регулирования частоты энергосистемы. Ему сказали:

— Быть тебе ученым, оставайся на кафедре.

Но он отказался, решил пойти на производство, чтобы проверить на практике свои идеи...

Как давно это было! Сколько лет прошло с тех пор, как старший инженер Центральной лаборатории Грузэнерго Ивери Прангишвили разработал одну из новых систем телемеханики и представил ее в качестве реферата для поступления в аспирантуру? И вот уже позади учеба, защищена кандидатская диссертация, а младший научный сотрудник прославленного Московского института автоматики и телемеханики Академии наук СССР\* все поднимается по крутым ступенькам познания. Сын горного инженера, он упорно взбирается в гору, но на каждой новой ступеньке обнаруживает, что, стремясь к вершине, едва достиг основания. Ступенька — Прангишвили старший научный сотрудник. Еще ступенька — он заведующий лабораторией. Еще — заместитель директора института... В тридцать восемь лет Ивери Варламович блестяще защитил докторскую диссертацию, в тридцать девять стал профессором.

Каков вклад Прангишвили в науку? Я далек от его профессии, поэтому будет лучше, если приведу высказывание сведущего человека, всемирно известного ученого, директора Института проблем управления академика В. А. Трапезникова: «...В пятидесятых годах И. В. Прангишвили один из первых предложил принципы построения бесконтактных телемеханических и телеавтоматических систем управления... Разработанные им принципы легли в основу широкого класса систем телемеханики и телеавтоматики, которые освоены промышленностью и внедрены в различные отрасли народного хозяйства... Под научным руководством и при непосредственном участии И. В. Прангишвили были созданы системы телеавтоматического управления обогащательными фабриками черной и цветной металлургии. Эти системы внедрены на ряде действующих объектов... Институтом проблем управления в сотрудничестве с отраслевыми организациями под руководством И. В. Прангишвили была разработана и внедрена в промышленность единая серия полупроводниковых, логических и функциональных элементов и узлов (логика Т) для построения систем управления. Эта серия освоена и выпускается серийно...»

Под руководством Ивери Варламовича были разработаны принципы создания вычислительных машин четвертого поколения на однородных перестраиваемых структурах. Для реализации этих машин подключен ряд предприятий страны, в том числе тобильское научно-производственное объединение «Эльва» — ему поручено изготовить один из трех типов машин. Научное руководство этими работами возложено на И. В. Прангишвили.

— Ныне автоматами с однородными структурами занимается весь мир, — говорит И. В. Прангишвили, — но мы вправе гордиться тем, что идея принадлежит представителям советской науки.

Во Франции, в Японии и в США ученые слушали на международных конференциях доклады И. В. Прангишвили о теоретических основах построения этих систем, его книга «Микроэлектроника и однородные структуры для построения логических и вычислительных устройств», написанная совместно с коллегами, была одним из первых в мире научных трудов на эту тему... Сбылось предсказание строгих членов Государственной комиссии, высказанное в далекую пору студенчества, во время защиты диплома: Ивери Варламович стал крупным ученым.

Но ученый находит время не только для разработки все новых и новых идей в своей отрасли науки. Он щедро отдает свои знания людям, не жалеет сил для множества общественных дел. Десять лет работает на общественных началах заместителем декана Московского народного университета техники и экономики. Руководит — опять-таки на общественных началах — созданием АСУ в помощь двум автокомбинатам района. Состоит в Технико-экономическом совете райкома КПСС. Является членом Комиссии ЦК ВЛКСМ по премиям Ленинского комсомола. Прибавьте к этому депутатские обязанности: постоянные контакты с избирателями, работа в комиссии градостроительства, руководство созданием автоматизированной системы управления наружным освещением столицы... И ничего из всего этого коммунист Ивери Прангишвили не может и не умеет делать вполосилы.

\* Ныне Институт проблем управления.



## 2. РУБЕЖ СЛАВЫ ГЕОРГИЯ ГОЦИРИДЗЕ

**В** ЖИЗНИ нередки парадоксы. На первый взгляд могла показаться парадоксальной и деталь биографии Георгия Гоциридзе: он строил, он и разрушал. И именно за это удостоился Золотой Звезды Героя Советского Союза и двух медалей лауреата Государственной премии...

Звание Героя ему присвоили в памятном сорок третьем. Днепр кипел от огня. Шел сентябрь, части Советской Армии освобождали от гитлеровцев украинскую землю. 62-й саперный батальон, которым командовал гвардии майор Гоциридзе, очищал корпусу путь к реке и пробивался к ней сам...

...Мы сидим в кабинете главного архитектора Московской области Георгия Георгиевича Гоциридзе, и, вспоминая те далекие и нелегкие дни, он вловь перенесся туда, на берег Днепра... Кровь и пламень смешались в кипящей реке, а саперы Гоциридзе налаживают переправу, и это их обычная работа, их будни, к которым, однако, трудно привыкнуть.

Он шел с 4-м механизированным корпусом от самой Волги, и здесь, на Днепре, его батальону приказали переправить корпус на правый берег. Инженерными частями корпуса командовал начальник инженерной службы майор Коргузалов, храбрый, закаленный воин. На него были возложены организация форсирования реки и налаживание устойчивой переправы, а непосредственную подготовку переправочных средств... Впрочем, познакомьтесь с документальным свидетельством очевидцев, оно изложено в книге А. М. Самонова «От Волги до Балтики»:

«Непосредственную подготовку переправочных средств осуществил 62-й гвардейский отдельный саперный батальон гвардии майора Гоциридзе... Перед ним была поставлена самая трудная задача. И самая ответственная: переправить корпус на правый берег Днепра и обеспечить его всем необходимым во время боев за плацдарм. Все, начиная с орудий и ящиков со снарядами и кончая табаком, нужно было доставлять на другой берег под ураганным огнем врага. ...Двое с половиной суток работали саперы под непрерывным огнем противника...»

Когда Георгию Гоциридзе было тяжелее всего? В белорусских лесах? Корпус, в который входил его саперный батальон, продвигался сквозь лесные чащи, солдаты утопали в болотах, но не это было самое страшное. Не это, а пепелища, мимо которых они проходили. У пепелищ сидели старушки и откровенно глядели на тлеющие головешки... А может быть, тяжелее всего ему было в июне сорок четвертого, когда его — в который раз! — ранило и пришлось проститься со своим батальоном? Он хорошо, даже слишком хорошо помнит, как это было. Машины с саперами шли длинным узким коридором, справа голубело большое озеро, слева поднимался уступ горы, и вдруг в небе прогрехотал гром — то был грохот вражеских самолетов над колонной. От них отделился «фокке-вульф», спланировал вниз и на бредущем помете стал расстреливать машины, людей. И вдруг потемнело в глазах комбата и словно издали услышал он чей-то тихий голос: «Товарищ гвардии майор, вы живы?».

Ох, и живуч же он, этот товарищ гвардии майор!.. Прошел всю войну, что называется, от звонка до звонка и хотя принято считать, что саперы дважды не погибают, — погибал пять раз и все-таки выжил.

...В горестном сорок первом архитектор Георгий Гоциридзе стал сапером. В радостном сорок пятом сапер Георгий Гоциридзе стал вновь архитектором. И тогда, в послевоенные годы, воюя за то, чтобы людям было удобней жить, Георгий Георгиевич прикрепил рядом с Золотой Звездой Героя Советского Союза одну, а потом другую медаль лауреата Государственной премии. Кто не слышал о подмосковном городе Жуковском? Сейчас ученые и туристы всего мира приезжают в этот ставший знаменитым зеленый уголок страны, чтобы познакомиться с его достопримечательностями. Застройка Жуковского, удостоенная Государственной премии, — плод творчества Георгия Гоциридзе:

Под опекой главного архитектора Московской области — 68 городов и 7 тысяч сел Подмосковья. Он обязан заботиться не только об их сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. И он заботится о них. Об архитектурной выразительности застройки городов. О комфорте в обслуживании населения. О том, чтобы создать в Подмосковье современные населенные пункты, крупные комплексы отдыха с удобной планировкой, оригинальной архитектурой, высоким уровнем благоустройства, с отличной организацией хозяйства и транспорта.



О том, чтобы людям приятно было жить в удобных квартирах, гулять по красивым улицам, набережным, скверам, бульварам. О том, чтобы к концу девятой пятилетки сдать 17 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья, чтобы жилье это было добротным и уютным, радовало глаз, создавало хорошее настроение...

Подмосковная земля до сих пор хранит меты войны. Те пятьсот километров, на которых советские воины разбили наголову фашистских захватчиков, стали памятными не только для москвичей — для всего советского народа. Рубежом Славы назвали их. До сих пор эта земля легендарного мужества, пропитанная кровью, горяча от огня. Кажется, до сих пор она вздрагивает от артиллерийских разрывов... Следы войны — повсюду: поросшие травой незащищенные окопы, доты, блиндажи, старые, проржавевшие каски, походные флаги. И непреходяща светлая память о подмосковной битве и о тех, кто здесь, у ворот столицы, остановил врага; монументы, памятники, мемориалы встречаются повсюду. Пройдет время, и эти памятники впишутся в единый величественный архитектурный комплекс героям исторической битвы. Архитекторы увековечат Рубеж Славы для потомков.

Не просто создать такой комплекс. Двенадцать коллективов, почти сто архитекторов, скульпторов, художников, инженеров, дендрологов, военных историков участвовали в конкурсе, и лучшим проектом был признан тот, который подготовил авторский коллектив Георгия Гоциридзе. Георгий Георгиевич рассказывал, сколько труда вложил его коллектив в проект. Они знакомились с письмами, схемами, картами, дневниками, встречались с военными специалистами, участниками боев под Москвой... И чем шире открывался им масштаб битвы, тем сложнее казалась задача. Подумать только: Красная Армия освободила от фашистов 11 тысяч городов и деревень! Полмиллиона немцев нашли могилу в подмосковной земле. Сложили головы, защищая столицу, 150 тысяч советских солдат. И все это воплотить в памятном комплексе предстоит коллективу, возглавляемому Георгием Гоциридзе.

Я прошу его рассказать, каким будет Рубеж Славы, и он с увлечением говорит о густой зеленой роще, что протянется сплошным массивом вдоль памятных мест; потомки тех, кто стоял здесь насмерть, стоял до победы, будут отдыхать под тенью тополей и лип; рассказывает о центральном мемориальном комплексе — с музеем, парком, скульптурами, с некрополем погибших воинов, — что будет сооружен в районе Наро-Осаново на Белорусской дороге — в сорок первом это был самый тяжелый участок боев; говорит о семи других мемориалах, которые предполагается воздвигнуть в районе Клина, Зеленограда, восточнее Наро-Фоминска... Да будут священны эти места!

Много лет назад сапер Гоциридзе снял военную шинель. Но и сейчас он остается солдатом: он воюет за то, чтобы человеку было хорошо и уютно жить на мирной земле. И хорошеют, благоустраиваются подмосковные улицы, площади, города. А над ними простирается голубое небо, мирное, без облачка, небо, которое отвоевал для людей Георгий Гоциридзе — воин и архитектор.

### 3. БУДНИ ЛЕЙТЕНАНТА БАКРАДЗЕ

**О**Х, КАК ВЕЛИК для журналиста соблазн: написать о лейтенанте ОБХСС детективный очерк, шаг за шагом идти по следам преступника. Тем более что и преступлений Анатолий Бакрадзе раскрыл немало. И эпизодов рассказал больше чем достаточно.

Но я сдерживаю себя. Так же, как сдерживает себя Анатолий, делаясь впечатлениями о своей работе: будни как будни...

— Мне очень повезло, — уже в который раз повторяет Анатолий Бакрадзе. — Мне всегда везет на хороших людей, а тут повезло особенно. И мои наставники, и весь коллектив — словно одна семья. Вот недавно...

И он рассказывает, как недавно ему довелось вместе с товарищами разобратся в прелюбопытнейшей истории, столь непохожей на обычные. История эта берет начало с того дня, когда одиннадцатилетняя Марина и две ее подружки ходили по магазинам, ели власть мороженого, покупали все подряд, по-купечески щедро транжиря деньги. Денег у них было много: рублей по сто. Откуда они взялись у детей? Марина объяснила:





— Я их взяла дома, в чемодане.

Она рассказала, как похвасталась подружкам, которые пришли к ней в гости, что в доме у нее «много-много» японских зонтиков, как полезла за ними в кладовку и обнаружила там чемодан с кучей денег (потом, при обыске работники ВХСС обнаружили не только 23 тысячи рублей, но и золотые монеты царской чеканки, и кулоны, браслеты, кольца, и десятки метров кримплена).

Первым узнал обо всем этом начальник отдела ВХСС Первомайского района столицы Петр Григорьевич Слыжняк, учитель лейтенанта Бакрадзе. Была создана оперативная группа. Мать Марины, хозяйка дома, категорически отмежевывалась и от чемодана, и от ценностей. Как он попал к ней в дом — она не знает. Откуда взялось все это богатство — ей неизвестно. Экспертиза подтвердила, что она говорит правду: на чемодане обнаружили отпечатки не ее пальцев. Чьих? Это предстояло выяснить Анатолию Бакрадзе и его товарищу Александру Федосееву. И осторожно, чтобы не порвать, стали они тянуть ниточку, и ниточка привела их сначала к марининой тетке Сонии Дарсания, продавцу магазина «Культтовары», потом к мужу Сонии — Валерию Дарсания, человеку без определенных занятий, потом в один из районов Подмосковья, где в магазине «Ткани» работала другая сестра Сонии — Алиса Енгальчева и откуда супруги Дарсания вывезли однажды 75 метров кримплена, потом в Сухуми, где Валерий Дарсания этот кримплен сбывал...

Будни как будни. Однажды пришлось крепко повозиться с врачом Максимовским. Нечистый на руку, он брал взятки с пожилых водителей, готовившихся идти на пенсию. Его поймали с поличным, устроили на квартире обыск, но обыск ничего не дал. Анатолий вспомнил, как вел себя Максимовский на допросе, с какой нервозностью ждал результатов обыска. Значит, он опасался, вдруг что-то найдут? Когда его задержали, в карманах оказались пустяки: два лотерейных билета, авторучка, маленькая карманная отвертка... Стоп. Зачем ему отвертка? Обыск на квартире повторили — стали искать там, где винты. И нашли. В магнитофонной приставке под крышечкой «служитель Гиппократ» спрятал пять сберегательных книжек на общую сумму 30 тысяч рублей, золото, валюту.

Но это было уже позднее, когда у Анатолия прибавилось опыта, а до случая с врачом были и успехи, и срывы — все бывало.

Свои первые шаги Бакрадзе делал в оперативном комсомольском отряде лет десять назад и настолько увлекся, что, отслужив в армии, снова пошел в тот же отряд, теперь уже комиссаром. Потом его направили в ОБХСС, и его первый наставник Петр Григорьевич Слыжняк, его старшие товарищи по юной работе терпеливо и доброжелательно передавали ему свой опыт. Начиная он с малого: две недели перебирал квитанции в комиссионном магазине в поисках ворованных мехов, а уже через два месяца учитель помог ему раскрыть дело о хищении фруктов, и четыре жулика из плодоовощной конторы и магазина были выведены на чистую воду.

Он не мыслит свою работу без помощи общественников, ему помогают активисты и незнакомые люди, оберегающие интересы государства, ненавидящие воров, расхитителей. И в деле с цитрусами, и в деле о спекуляции автомашинами, и в разоблачении ревизоров-взяточников сигналы трудящихся сыгнали немалую роль. Разоблачить спекулянтов цитрусами помогли работники одного из отделений связи: слишком много посылок отправляет гражданин в Полтаву. Расследование показало, что сей гражданин использовал и другие почтовые отделения для отправки посылок. Механика оказалась примитивной: два железнодорожника, застрявшие в Полтаве, решили нажиться и один из них выехал в Москву «за товаром» — скупал апельсины по 1 рублю 40 копеек, посылал в Полтаву, а там его друг (вернее — сообщник) перепродавал их по пятерке. Лимоны покупались в магазине по 35 копеек, а продавались по полтора рубля. Однако недолго пировали дружки...

Будни как будни. И в них главное — не только раскрытие преступления, но профилактика.

— Вы слышали про оперативный отряд при райкоме партии? — спрашивает Бакрадзе. — Он единственный в Советском Союзе. Его девиз — «Мужество, долг, энтузиазм». Когда отряд отмечал свое 10-летие, 73 города, в том числе союзные республики, послали представителей на юбилей. С этим отрядом у нас большая дружба — мы проводим совместные рейды, проверки. Недавно устроили рейд на бараночный завод, столкнулись с мелкими хищениями. Пришлось написать представление, попросить усилить контроль. Кому неизвестно, что мелкие хищения всегда влекут за собой крупные?..

...Он не жалеет сил в нелегкой борьбе за правду, лейтенант Бакрадзе. Энтузиаст, ставящий долг превыше всего, коммунист.



**КАК** ОКАЗАЛСЯ Андрей Георгиевич Гаприндашвили среди подмосковных березовых рощ, вдали от Грузии, от родного села Ткемловани? Он хорошо помнит тот день, когда его, студента-выпускника, впервые назвали врачом. Было это в Ленинграде, ему торжественно вручили диплом, он провел незабываемый вечер с друзьями — последний студенческий вечер — и уже начал собирать вещи, чтобы возвратиться в родное село, но произошло непредвиденное: Андрей был хорошим спортсменом и хорошим организатором, и его избрали председателем областного Совета спортивного общества «Медик». Что поделаешь, пришлось распаковать чемоданы и задержаться в Ленинграде.

Задержка растянулась на пять лет. А так как Андрей Георгиевич не умел работать вполсилы и, взявшись за дело, отдавал ему всего себя без остатка, он и тут, на этой беспокойной выборной должности, поставил работу так, что, когда состоялся съезд, делегаты единогласно избрали его председателем Центрального совета. Он снова упаковал чемоданы, сел в поезд и вместо села Ткемловани, что возле Чиатура, отправился в Москву, на новую работу. Позднее, после слияния спортивных обществ, судьба на многие годы связала Андрея Гаприндашвили с курортологией. Его направили в санаторий «Монино» главным врачом.

Так он оказался в Подмосковье, в живописном уголке, среди берез, елей и тополей. Потом его перевели в другой подмосковный санаторий налаживать работу, и всюду, обгоняя его, бежала добрая молва об Андрее Георгиевиче Гаприндашвили — человеке, который не за страх, а за совесть служит людям. И люди отвечали ему любовью и доверием: десять раз подряд его избирали депутатом городских Советов.

Вот уже двенадцать лет А. Г. Гаприндашвили — главный врач санатория «Подлипки». Этот санаторий признан одной из лучших кардиологических здравниц. Но чтобы он стал таким, понадобились большие усилия главного врача. И среди сотен забот об оборудовании и материалах, реконструкциях и перестройках, о новых лечебных кабинетах и системе организации отдыха — среди всех этих больших и малых забот была у Гаприндашвили главная: добиться, чтобы коллектив зажегся его идеями.

Коллега Андрея Георгиевича с добродушной улыбкой вспоминает, как встретили сотрудники санатория нового главврача. Знакомство состоялось зимой 1963-го. Андрея Георгиевича представили коллективу, он поднялся на трибуну, рассказал о себе и о своих мечтах. А мечты были о том, каким хотелось бы видеть санаторий «Подлипки» через десяток лет.

— Я слушал главного врача, как дети слушают сказку. Ну, и фантазер! — думал я. — Суждены ему благие порывы. А Гаприндашвили между тем все рисовал воздушные замки. Мы воздвигнем, говорил он, большой лечебный корпус с кабинетами, оснащенными современной медицинской техникой, и новый спальный корпус, и жилой дом для сотрудников, и просторный светлый клуб, без которого санаторий не санаторий. «Новая метла хорошо метет», — шепнул мне сосед. А с трибуны в это время прозвучали с уверенностью сказанные слова: «Все это у нас будет. Помяните мое слово...».

— Представьте, ни одного слова не бросил на ветер! — в восхищении восклицает коллега. — Все, о чем говорил, у нас появилось. Все до мелочей, до деталей! И лечебный корпус на тысячу посещений, и спальный корпус на полтора ста мест, и клуб, каких поискать, и жилой сорокаквартирный дом для сотрудников, и еще один дом на 90 квартир — вот он, достраивается, а когда его заселят, каждая семья работника санатория будет иметь отдельную квартиру, да не какую-нибудь, а по повышенным санитарным нормам. Каюсь, напрасно сомневались. Гаприндашвили — человек слова: сказал — выполнил.

Главный врач безотказно помогает всем. В поселке «Строитель» он как член городской комиссии здравоохранения добился для участковой поликлиники получения медицинского оборудования, инвентаря, денег на ремонт помещения, присылки квалифицированных специалистов и теперь жителям поселка нет нужды ездить в город за медицинской помощью. В Мытищах как депутат помог Дому санитарного просвещения получить передвижную агитмашину и кинопередвижку. В Москве как член Центральной научно-курортной комиссии при ВЦСПС решает проблемы курортологии во всесоюзном масштабе.



Я уже упомянул, что «Подлипки» — один из лучших санаториев в стране. А среди одиннадцати кардиологических здравниц Московской области признан бесспорно лучшим. Санаторий «Подлипки» стал базовым, и поэтому чуть ли не ежедневно его навещают врачи, медицинские сестры, культработники. Они приезжают сюда за опытом. Они знают: из этого колодца черпай — не вычерпашь. В санатории применяются новейшие методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В великолепно оборудованном лечебном корпусе функционируют кабинеты иглотерапии, электросна, баротерапии, действует экспериментальная установка для магнитотерапии. Недавно открылся кабинет психотерапии, больше тысячи больных уже прошли в нем лечение. Вслед за тем ввели еще одно новшество: телеэлектрокардиографию, дающую возможность узнать предельно возможную нагрузку человека, перенесшего инфаркт миокарда.

Для медицинских работников, приезжающих сюда за опытом, коллектив санатория выпустил настольную книгу, подготовил двенадцать писем-пособий по климатолечению, лечебной гимнастике, применению водных процедур, функциональной диагностике, психотерапии, проводит семинарские занятия... Врачи, медицинские сестры возвращаются к себе, обогащенные новыми познаниями, полные впечатлений. Их неизменно подкупает обаяние главного врача. Их увлекает дело, которому он беззаветно посвятил свою жизнь. Им сообщается огонь и свет его сердца — сердца, отданного людям.





## ОН ГОВОРИЛ О ЛЮБВИ ТИХО И ДОВЕРИТЕЛЬНО...

**В** СВОЕМ рассказе «Друзья», написанном в 1958 году, Эдишер Кипиани сделал нас соучастниками трагедии, которую впоследствии реально, уже в связи с ним самим, пришлось нам пережить. Это рассказ о незаживающей ране, оставшейся после смерти друга. Тягостная мысль, завершающая раздумья героя рассказа — молодого литератора Ваю, не отпускает нас: «Если бы все близкие и не только близкие пожертвовали Левану хоть частицу своей жизни и благополучия, если бы все выдающиеся врачи или ученые были бы растрожены болезнью Левана, если бы люди собрали все существующие в мире средства... Ведь можно же было? Можно. И Леван сейчас был бы жив... Поразительно, Леван был бы сейчас жив!»


По этой логике, простой и почти убедительной, возможно, и сам Эдишер Кипиани был бы сегодня жив. И все же на этот раз я не соглашусь (вероятно, это будет единственный случай) с мыслью Эдишера Кипиани, с мыслью исключительно благодарной, но совершенно утопической. Я упорно отвергаю ее не из желания отместки гложущую душу муку. Народная мудрость не зря породила такое многообъясняющее слово, как «судьба». Мысль о судьбе не притупляет боли, а просто избавляет нас от самобичевания. Эдишер Кипиани прекрасно знал это слово и знал, что оно означает, но упорно не верил в это понятие, когда оно касалось смерти. Смерть вообще, не говоря уже о смерти близкого человека, была для него чем-то настолько нелепым и неприемлемым, что он отказывался ее понимать. В таких случаях ему явно изменяло чувство реальности. На первый взгляд может показаться случайным, что свое последнее произведение «Шапка, закинутая в небо» он написал именно с таким тревожным чувством. Ведь и здесь погибает молодой человек, и, по глубокому убеждению писателя, все должны чувствовать себя поэтому виноватыми. Всем своим существом он верит, что Паате, как и Левану, можно было помочь, и Паата был бы сейчас жив!

Нам понятен и дорог зов души Эдишера Кипиани, который пробуждает в нас чуткость и напоминает о первейшем нашем долге — беречь людей. Но... Ведь будто вопреки логике и всем представлениям Эдишера Кипиани и его самого ждала страшно нелепая смерть.

Так или иначе, тот мир, который именуется творчеством, Эдишером Кипиани уже завершен и, к несчастью, точка была поставлена слишком преждевременно и неожиданно. Эдишер Кипиани не прожил и полувека. Если же учесть, что его литературный дебют состоялся с некоторым опозданием, то станет еще более ясным, в какой сравнительно короткий срок сформировался этот прекрасный и значительный мир. И еще более пронзительной покажется утра. Даже века не смогли избавить нас от мучительного недоумения — до чего же вероломна судьба, так рано уводящая из жизни многих художников. Вполне понятно наше ошеломление от той неожиданности и внезапности, с какой прекратилась жизнь ровесника и друга — Эдишера. Будто сорвалась струна, в звучании которой рождались чудесные напевы...

Народ мудр и добр, справедлив и мягкосердечен. Из народа и идет повесть — помнить и говорить о покойном только доброе, забыв обо всем дур-





ном. Эдишер Кипиани принадлежит к тем счастливым исключениям, которым нечего прощать после смерти. Он начисто был лишен жажды почестей, и после смерти его мы не чувствуем себя вправе (память о нем не позволяет нам этого) хотя бы слегка, чуть-чуть приукрасить его жизнь и хоть на йоту приподнять значение его творчества.

По индийскому обычаю, на могильном камне высекают даты не всей жизни покойного, а только того отрезка времени, в течение которого покойный был счастлив. Наверное, на могиле художника тоже следовало бы пометать тот период, когда он творил.

Литературная жизнь Эдишера Кипиани коротка — она исчисляется примерно всего лишь пятнадцатью годами. У него было техническое образование, но сердце принадлежало литературе. Литература была для него притягательным и магическим миром, но войти в него он долго не решался. На подступах к «большой» литературе он серьезно занялся журналистикой. Нам запомнились многие его очерки о выдающихся деятелях искусства и спорта (первый сборник его «Мяч и поле» вышел в 1954 году). И на сегодняшний день — это лучшие образцы грузинской очерковой литературы. А зов писательского призвания все нарастал в нем, был настойчив и серьезен, шел процесс накопления сил и отваги, чтобы шагнуть через заветный порог.

Ему свойственно было работать неторопливо, вдумчиво, наблюдая. Возможно, потому так невелико в количественном отношении его творческое наследие и потому же так значительна та, что он создал и оставил нам.

Эдишер Кипиани вступил в грузинскую литературу в сложный период сдвигов, смещений представлений, возникновения новых тенденций в литературе. Это была середина пятидесятых годов. В эту пору возник и новый подход, новая интерпретация проблемы гуманизма в литературе, и естественно, прежде всего это должно было отразиться в произведениях советских писателей.

В 1956 году вышел первый сборник рассказов Эдишера Кипиани, который назывался «Высокий потолок». Собранные воедино рассказы писателя оставили приятное впечатление. Гуманизм этих рассказов, глубокий и живой интерес писателя к судьбам «маленьких» людей свидетельствовали о правильной позиции автора, о чувстве высокой гражданственности и сознании своего патриотического долга, о сердце, преисполненном любви к людям, и что самое важное, этот сборник сразу определил место Эдишера Кипиани в литературе того времени. На эту книжку сразу тепло и доброжелательно отозвались в прессе Нодар Чхеидзе и Гурам Асатиани.

Первые шаги молодого писателя, его первая книга получили заслуженное признание и литературной общественности, и широкого читателя. Хотя, справедливости ради, скажем: полного единодушия в оценке отдельных рассказов, вошедших в сборник, не было. Многие еще были сырым с точки зрения художественного мастерства, еще звучали отголоски тенденций минувших лет, вылившиеся в идиллическое, благодушное настроение. И все же это не помешало быть книжке Э. Кипиани одной из первых ласточек в реализации новых литературных тенденций и проблем.

Именно на середину пятидесятых годов и падает начало нового подъема грузинской советской литературы, особенно художественной прозы, когда пришло сильное молодое пополнение, много сделавшее для развития национальной литературы. И одним из достойных представителей этого поколения был Эдишер Кипиани.

Тот путь в литературу, который он избрал для себя, был пройден им с увлечением и полной отдачей. Он не менял позиций, не знал мучительных метаний от одной проблемы к другой, не испытывал внутренних колебаний, которые нужно было преодолевать. Своя манера, свой почерк, своя философия — все будто определилось в нем с самого начала, и все его устремления были направлены на повышение мастерства, и в этом он также преуспел.

К концу пятидесятых годов Эдишер Кипиани уже напечатал лучшие свои рассказы, ставшие значительным явлением и для всей современной грузинской литературы: «Гобой», «Руки», «Тетради в десять листов». Помимо того, что новые рассказы Эдишера Кипиани сами по себе были прекрасны, увлекали и захватывали, они создавали в многообразной, богатой грузинской прозе того времени свой особый, неповторимый мир, по которому безошибочно можно было судить о том, кто его автор.

Эдишер Кипиани был верен до конца своему главнейшему, можно сказать, единственному интересу, заключающемуся в пристальном внимании к жизни простого человека, в желании познать его психологию, убеждения, духовный мир. Эта тенденция обрела свою законченность и замечательное выражение в рассказе «Гобой».

Сколько любви и сочувствия в обрисовке образа главного героя гобиста Дмитрия, сколько глубокого убеждения в том, что у каждого ремесла и про-





фессии свой смысл и свое назначение, своя неповторимость и деятельность каждого человека, какой бы незначительной она на первый взгляд ни казалась, не может проходить незамеченной.

Жизнь Дмитрия не изобиловала событиями. Одно и то же изо дня в день и на протяжении десятков лет: размахивая своим гобоем, каждый вечер входил он в здание оперного театра и направлялся к своему месту в оркестре. Дмитрий утешал себя, что в каждом деле есть и монотонность, и однообразие. Но однажды...

Могла произойти беда, но ее не случилось, а к человеку вернулась радость, которую он испытывал лишь в далекие годы юности, пришла уверенность и преисполненность сознанием, что живет он не напрасно.

...Дмитрий спешил к театру, то и дело стороной обходя гуляющих по проспекту или протискиваясь сквозь праздную толпу, не позволяющую ему идти быстрым шагом. Он сошел с тротуара на мостовую, не заметив едущего сзади троллейбуса. В последнее мгновение он успел увернуться, вскочил на тротуар, но вокруг него уже звучали испуганные голоса, собрались прохожие, которым показалось, что его сильно ударило. И в этом уличном гуле из вскриков, вздохов, сочувствий он извлек один отчетливый голос, спрашивавший у кого-то: «Ты знаешь, кто этот человек?». Дмитрий ждал ответа как приговора. И тот же мужской голос пояснил: «Без этого человека в опере не смогут начать «Данси». Дмитрий так и не узнал, кто произнес эти слова. Но его как будто охватила волна огромной радости, она подняла его, понесла... Нет, это было нечто большее, чем радость...

А ведь и в самом деле, вступление к увертюре «Данси» начинается гобой. Радостное волнение долго не покидало Дмитрия. Как глубоко психологичен и оправдан конец рассказа, последняя его фраза: «Никто, кроме дирижера, не заметил, что в тот вечер гобой слегка фальшивил».

Какой нужной человеку оказалась эта, как бы брошенная невзначай фраза. И как важно, что такие рассказы будят в нас потребность ободрить, одарить теплом, вниманием окружающих нас людей, поддержать их добрым словом, которое способно и поднять дух, и дать возможность в большей степени ощутить чувство собственного достоинства. А если этими благородными мыслями проникнуто мастерски написанное художественное произведение, то переоценить значение такого рассказа невозможно. «Гобой» видится нам как образец большой высокохудожественной прозы. И по моему глубокому убеждению, это один из лучших, поистине классических рассказов не только в творчестве Эдишера Кипиани, но и во всей современной грузинской прозе.

Большое впечатление на читательские массы произвел цикл рассказов Эдишера Кипиани «Тетради в десять листов», которые были напечатаны на страницах тогда еще только начинавшего свою жизнь журнала «Цискари». В этих чистых рассказах, предложенных читателю в виде ученических классных работ, еще раз с поразительной отчетливостью выступают подлинный гуманистический дух писателя, его безгранично любящее, преисполненное добра сердце, его редкая способность увидеть необыкновенное в обыкновенном течении жизни и показать величие и красоту человеческих взаимоотношений, человеческого сочувствия и поддержки, в общем всего, что и составляет природу авторской натуры. Кто не имел счастья быть лично знакомым с Эдишером Кипиани, легко может судить о нем, о его характере, убеждениях, мировосприятии по его рассказам, потому что в этом случае между автором и его творчеством не пролегает никакая ощутимая грань, все поразительно тесно сплетено воедино.

В жизни бывает сколько угодно случаев, когда составленные читателем представления об авторе по его героям или же по высказанным в его произведениях убеждениям оказываются ошибочными, не соответствующими истинному характеру писателя.

Известно, например, что Виктор Гюго, чье творчество преисполнено сочувствия к угнетенным, в жизни выглядел далеко не сентиментальным и никогда не протягивал руку помощи несчастным и обездоленным. История литературы знает еще более поразительные факты, когда писатели щедро наделяли своих героев именно теми добродетелями, которыми были сами обделены.

Наряду с этим мы знаем имена и биографии писателей, личные качества которых находились в необыкновенной гармонии с их творчеством. В глубоком единстве находились их высокие устремления, истинная любовь к ближнему как в жизни, так и в творчестве. Одним из лучших образцов такого счастливого сочетания является жизнь и творчество Антуана де Сент-Экзюпери. К нашей великой гордости, подобным же образцом был и исключительно выразительный и впечатляющий пример нашего друга — грузинского писателя Эдишера Кипиани.





К сожалению, еще не написан биографический очерк о нем. Мы почему-то вообще индифферентно относимся к этому жанру, скорее даже излишне осторожны в отношении всего того, что зовется личной жизнью писателя.

На увлечение биографической литературой существует два совершенно противоположных взгляда. Во Франции, например, биографы очень охотно ворошат личные драмы писателей, смакуют интимные детали их жизни. Нам же свойствен сугубо официальный подход к биографическим фактам. Истина пролегалает, видимо, где-то между этой нездоровой любознательностью, граничащей со сплетничанием, и аскетической сдержанностью. Именно в этом убеждают нас лучшие образцы мировой биографической литературы.

Тем более что и в грузинской литературе можно обнаружить интересные произведения, написанные в этом жанре, но по своим масштабам и достоинствам уровень европейской литературы приходится признавать ориентиром. Европейским писателям, художникам, музыкантам в известном смысле повезло — о них создана увлекательнейшая литература. Взять хотя бы все написанное о Сент-Экзюпери, в том числе и великолепную книгу Марселя Мишо, которая в единственном числе стоит целого набора биографической литературы. Она знакомит нас с живым человеком, замечательным писателем, воссоздавая великолепный образ Антуана де Сент-Экзюпери. Я говорю именно образ, потому что автор не ставит целью ни его идеализацию, ни, так сказать, приземление. Он нигде не форсирует какую-либо одну сторону, наоборот, сам послушно, с тщательностью и усердием следует за Сент-Экзюпери по его жизненному пути, и успех такого метода в биографическом жанре налицо.

Я не случайно назвал светлое имя Антуана де Сент-Экзюпери, ставшее уже легендой. Пусть это будет неожиданным, но меня не покидает мысль, что у Эдишера Кипиани много общего с ним. Я уже отмечал, что один из моментов их духовного родства — внутренняя цельность и гармоничность, молчаливое, без патетики благородство и подлинная, от природы гуманистичность.

Два совершенно различных мира питают творчество обоих писателей, но одно примечательное свойство — огромное сочувствие и любовь к маленькому, незаметному человеку — делает их похожими. Если бы не было Сент-Экзюпери, мы, наверное, не смогли бы так понять мир чувств и переживаний ночных летчиков, познать их грусть и радость, мучительное чувство одиночества и то ощущение полноты жизни, которое порождает их причастность, их органическая принадлежность к погружившемуся в ночной покой миру. Если бы не Эдишер Кипиани, для нас остались бы неизведанными пережитое в одиночестве счастье гобойста, тоска девочки, которая не видела моря, и многое другое. Да, на первый взгляд, масштабы художественного охвата жизни и значимости характеров по внешним признакам сужены у обоих как будто до минимального. Но, проникая в их творчество, мы вдруг начинаем понимать, что они умели из океана больших человеческих переживаний и страстей извлекать и, изумляя, открывать нечто такое, что вдруг делало нас свидетелями проявления на редкость нежной и в то же время мужественной любви к людям.

Для Сент-Экзюпери органически неприемлемо было всякое приукрашивание. И потому так несказанно красив мир, который он сотворил. Ему претило, казалось бугафорным все то, что было придумано и преувеличено, так как он глубоко верил в то, что подлинная человеческая доброта, благородство, вообще достоинство не нуждаются ни в вымысле, ни в преувеличении — их надо просто увидеть. И разве нельзя все это сказать и об Эдишере Кипиани?

Можно еще проводить параллели между Сент-Экзюпери и Эдишером Кипиани, но необходимо подчеркнуть одно: сердца обоих были преисполнены любви к людям, но они никогда во весь голос не высказывали это наполняющее их счастьем чувство. Но странно, в нас их любовь и их боль отзывались громче, чем бой барабанов.

Возможно, то, что я все время связываю эти два имени, вызовет удивление: Сент-Экзюпери — классик современной мировой литературы, а творческий диапазон Эдишера Кипиани куда уже! Но речь идет не о равноценности двух творческих миров, а о сходстве художественного мышления, интересов, и этот факт не только любопытен сам по себе, но он как бы лучше раскрывает характер творчества Эдишера Кипиани и его значение для грузинской литературы.

Тому, что имя Сент-Экзюпери стало легендой, мы во многом обязаны совершенно поразительной биографии, которая ничуть не менее интересна, чем его творчество, и которая сделала этого замечательного писателя и человека особенно близким и понятным для нас. Когда же биографические сведения и об Эдишере Кипиани станут достоянием читателя, когда он будет раскрыт сполна как личность и гражданин, с его поразительной чистотой, я бы сказал, совершенством, построенном на истинной человеческой доброте, взлетах рыцарской души и высокой мужественности, тогда совсем по-иному будет освещено и



все его творчество, приобретая и новую силу, и больший удельный вес, и большую власть над нами.

«Его, как ребенка, трогает даже выдуманная история», — говорил Эдишер из персонажей его рассказа, и говорит будто о нем самом — об Эдишере Кипиани. Со стороны многим сдержанность Эдишера Кипиани казалась вялостью. Только близкие знали, какой напряженной, наполненной жизнью он жил. Задумчивая, грустная улыбка его не была позой, а выражением обычного душевного состояния. И еще в его улыбке наряду с грустью всегда проступала и застенчивость. Будто он смущен тем, что причастен к тому высокому делу, что зовется литературой, — это было для него свято, — и что обрел звание писателя, звание, перед которым всю жизнь преклонялся.

Ему дорог был и сам творческий процесс и было любимо то, что выходило из-под его пера — будь оно значительным или рядовым, прекрасно-возвышенным или будничным. Но об этом говорить он не любил. Он всегда только делился радостью, которую доставляло ему творчество других: горячо обсуждал книги — художественные или научные, которые жадно поглощал в невероятном множестве. Это был писатель с редчайшей чертой — абсолютным отсутствием честолюбия и тщеславия, который всегда был преисполнен искреннего уважения к другим, неизменно всерьез и близко к сердцу принимал успехи коллег — близких и дальних. Его коробило даже малейшее проявление цинизма, злословия, недоброжелательства к другому человеку. Эдишер Кипиани был интеллигентом в самом высоком смысле этого слова. Для него было чуждым и непонятным желание или попытка как-то выделиться, подчинить кого-либо своему влиянию, хотя само собой происходило то, что от его духовной мощью покорял всех, у кого возникали с ним контакты. От этого человека будто исходил широкий добрый поток благородства, гуманности, сердечности. И пока будет создан биографический очерк о нем, познакомиться с ним следует через его творчество, поскольку оно преисполнено света и добра, накопленных в нем самом и органически перешедших на страницы его книжек.

Чистая душа Эдишера Кипиани, неутомимая жажда добра, строгое следование своим жизненным принципам направляли тематику произведений, подсказывали характеры, в которых раскрывалась сполна человеческая красота, тепло и величие духа. Это все было продиктовано его писательским призванием, но чувство гражданского долга, потребность абсолютной чистоты в атмосфере общественной жизни заставляют его обратить внимание и на те стороны жизни, которые претили ему.

В тот период, когда Эдишер Кипиани жил такой активной творческой жизнью, в республике сложились благоприятные условия для проявления многих низменных чувств. Сейчас, когда с такой настойчивостью разоблачается и искореняется зло, мы с гордостью должны отметить, что грузинская литература еще тогда своевременно поднимала свой голос, чтоб выразить возмущение и протест.

Эдишер Кипиани был писателем иного склада, его поэтическая натура как будто вводила его в сторону от публицистически заостренных выступлений, он находился в мире иных проблем и забот, но чувство гражданского долга обязывало его создавать художественные произведения с большой обличительной направленностью. В своем романе «Красные облака» Эдишер Кипиани один из первых восстал против того зла, которое в нашей общественной жизни завоевывало все большее место. Образ Бенедикте Зибзибадзе — дельца и до мозга костей разложившегося человека — один из самых типичных в современной грузинской литературе, рассмотренных в жизни и глубоко раскрытых. Чувство омерзения, овладевающее писателем от соприкосновения со всей этой грязью, проступает со всей неприкрытостью и непримиримостью. Борьба добра со злом протекает в романе с необычайной остротой. Хотя борющемся с несправедливостью моллоду журналисту Джабе Алавидзе трудно противостоять опытному Зибзибадзе, поднатюрешему во многих грязных делах, светлый, обнаддеживающий символ красных облаков свидетельствует о благополучном исходе этой борьбы.

«Красные облака» были первым романом Эдишера Кипиани. И с удовлетворением следует отметить, что писатель успешно справился со сложной задачей в этом жанре, и этот первенец явно доставил ему радость, хотя роман и дает повод для некоторых замечаний сугубо литературного плана. Роман «Красные облака» интересен не только своим обличительным пафосом и яркими характерами, но и тем, что автор нашел оригинальную композиционную рамку для выражения своих принципов и убеждений. Поиски нового не есть выражение навязчивого желания непременно предложить нечто оригинальное, которое неизбежно становится самоцелью. У Эдишера Кипиани поиски нового, которые так отчетливы и заметны, в этом романе приобретают иной смысл.

Не снизил Эдишер Кипиани обличительную интонацию и во втором, и как случилось, в последнем своем романе «Шапка, закинутая в небо», хотя в этот



роман вошел сполна такой органичный для него романтический и лирический поток, благодаря которому произведение зазвучало в глубоко присущей Кипиани тональности.

«Шапка, закинутая в небо» был единодушно оценен как один из лучших романов в современной грузинской прозе. Он был отмечен премией на республиканском конкурсе, сразу же был переведен на русский язык и напечатан в таком авторитетном журнале, как «Юность». Ему было посвящено много критических выступлений в грузинской и русской прессе.

«Шапку, закинутую в небо» поначалу воспринимаешь как произведение детективного жанра. Но постепенно мы начинаем понимать, что это произведение совсем иного характера. Детективный роман преследует цель раскрытия преступления, и если не все, то основное внимание автора сосредоточено именно на этом. И роман Эдишера Кипиани построен на трагическом факте и, следовательно, на упорных поисках преступников и мотивов преступления, но не это определяет истинное лицо произведения.

Несчастье Пааты и расследование дела, которое в центре внимания романа, — только средство для высказывания писателем своей точки зрения, своих взглядов на смысл жизни, на назначение человека и его долг, на добро и зло. Во время следствия он знакомит нас с главными героями романа и эпизодическими персонажами — носителями и последователями самых различных состояний, характер, мировоззрение подростка формируют два совершенно различных обстоятельства, два влияния. И уже от природы, характера и взглядов самого Пааты будет зависеть и линия его поведения, и решения, которые он будет принимать, и образ жизни, который он для себя предпочтет. Из чего складываются эти обстоятельства в романе? С одной стороны, влияние отчима Пааты — Иродиона Менабде и круг его друзей, точнее — соучастников, собутыльников, с другой — школа, друзья, учителя, среди которых заметно выделяется классная руководительница Гванца Шелиава.

Если Иродион Менабде со своим окружением описаны Эдишером Кипиани натуралистическими мазками, с беспощадным обнажением их духовного убожества, то образ Гванцы романтичен и возвышен, возведен до символа доброты и человеческой гармонии.

Эта контрастность стиля в изображении различных противопоставленных друг другу жизненных принципов отчетливо подчеркнута в романе. Примечателен эпизод, когда следователь Заал Анджапаридзе в поезде предается раздумьям. Сначала вспоминается Иродион: будто возникнув перед глазами с испуганным лицом, он произносит фальшивым голосом хитрые и коварные фразы. Заал вспоминает каждую деталь его общения с этим грязным человеком. Потом он быстро прогоняет эти неприятные воспоминания и мысленно оказывается рядом с Гванцей Шелиава. Здесь он уже будто теряет способность к реальному изображению и переносится в мечта в какую-то сказочную обстановку, в безграничный, бескрайний мир добра и совершенства.

Именно эта доброта и чистота поселились в душе юного Пааты. Он пошел в жизни по пути, подсказанному Гванцей Шелиава, и ничего не заставило бы его свернуть с него, если бы он не стал жертвой несчастного случая. Он уже всецело проникнут тем простым и великим сознанием, что только стремление делать добро должно руководить каждым поступком человека и только это возвышает его.

На распутье двух жизненных путей и устремлений, где находился Паата, в свое время пришлось глубоко задуматься и молодому следователю Заалу Анджапаридзе. Один из них ужаснул его, другой же заставил заглянуть в тайники своей души и извлечь оттуда тяжкую человеческую ошибку, которую он допустил в отношениях к Наи. Именно на такое тихое и бесшумное влияние доброго начала перенесен акцент в этом романе, и вторая его часть написана о новых взаимоотношениях Заала и Наи, о завоевании человеческого счастья.

Этот лучший роман Эдишера Кипиани оказался последним. Как говорил Михаил Джавахишвили, «судьба-гонительница» настигла его на пути, ведущем к вершинам, и если гибель была неизбежна, то погибнуть на этом пути все же лучше, чем упасть на ровном месте.





# „Поэзии физическая

О НОВЫХ СТИХАХ  
ЮННЫ МОРИЦ

## МОЩЬ...“

**Т**ВОРЧЕСТВО Юнны Мориц давно и прочно связано с Грузией. Грузии, ее истории, ее современности, ее природе и искусству посвящено множество стихотворений Ю. Мориц — как ранних, так и написанных в самое последнее время. Широкому читателю известны также переводы Ю. Мориц из грузинской поэзии, в которых с любовью к подлиннику может соперничать разве только мастерство поэта-переводчика.

Когда в 1974 году вышла новая, четвертая книга стихов Юнны Мориц, невольно пришла на память первая ее книга, вышедшая в Киеве в 1957 году. Из этой первой книги «выжило» и вошло в более поздние сборники только одно стихотворение «Желание» («Увези меня к морю хоть на день, хоть на час»). И не столько потому, что ранние стихи оказались недостаточны живучими, а потому, что Ю. Мориц, очень быстро и резко набравшая высоту, была очень взыскательна к себе. Уже в этой первой, ранней книге мы встречаем типичные для зрелой поры образы (например, стихи о простудившейся сосне; вспомним стихотворение из последнего сборника — «у ворона катар дыхательных путей»). И совсем уже не случайно первая книжка двадцатилетней поэтессы называлась «Разговор о счастье». Стремление к счастью — как к состоянию естественному и необходимому — пронизывает все творчество Ю. Мориц. Разумеется, это счастье — в представлении личности мыслящей, страдающей и сострадающей миру и людям, это идеал, противоположный меркантильной сытости и покою, но все-таки это — здоровое, нормальное, человеческое счастье. В счастливые минуты душевного равновесия Ю. Мориц форму-

лирует свою жизненную программу, предельно простую и непритязательную: «И долго жить. И умереть потом. Но сто детей иметь и всех делять».

Юнна Мориц — поэт драматический, напряженный, чутко откликающийся на всякую боль, знающий горечь утраты, — не скрывает яростной любви к жизни, демонстрирует языческую страстность и привязанность к земле и бытию. Еще в «Мысе Желания», удивительно цельной и мужественной книге, привезенной из нелегких северных странствий, Ю. Мориц провозгласила, не боясь показаться банальной или чересчур декларативной: «Я преклоняюсь, жизнь земная, перед бессмертием твоим». Дальше она не раз повторит это восклицание в разных вариациях: «Противен мне бессмертия разор, помимо жизни все невыносимо». «Все лучше и легче, все проще и проще живу, все лучше и лучше...». «Я жива, жива, жива, богом не забыта, молодая голова дрянью не забыта...».

Оптимизм Ю. Мориц — это не исход, а итог, не начало, не радужные наивность и восторженность ничего не ведающей души, а оптимизм выстрадавший, умудренный горьким опытом, прошедший через страдания и сомнения. И тем он ценнее и поучительнее. Ю. Мориц знает, что говорит, когда вопреки всему верит в любовь и добро, как в «верхний свет» над жизнью, когда верит в высшую справедливость. Вспомним прекрасный, свежий образ «золотой хлебобрезки», настолько полюбившийся поэтессе, что она несколько раз повторяет этот властный мотив щедрой раздачи всех мирских благ:

А я, как в детстве, жду довеска  
с небес, где виден продавец  
и золотая хлебобрезка.

Каждый человек ждет, должен ждать и будет ждать доли своего счастья. И еще раз о том же:

И над чистилищем залива  
зажжется что-то в вышине,  
отвалит жизни ей и мне  
и все разделит справедливо!

Обе цитаты—из сборника «Лоза», изданного почти через десять лет после «Мыса Желания» и доказавшего рост, взлет, скачок из юной талантливости в зрелость и совершенство.

И наконец, в последнем сборнике, откровенно, без обиняков названном «Суровой нитью («...не оттого ль душа моя здорова, что нить моей основы так сурова?»), мотив божественной раздачи обретает космическую широту и вместе с тем лирическую интимность:

Точность веса — в осеннем настрое,  
Приблизительность — как воровство,  
Потому нас не двое, а трое —  
Ты и я, и раздатчик всего.

На дороге от станции к даче,  
Обладатель сквозистых снастей,  
Мне навстречу выходит раздатчик  
С полной мерой могучих страстей.

Итак, каждый получает в этой жизни полную меру страстей и страданий, мук и радостей. Земное изобилие неисчерпаемо, и никто не останется обделенным: «На исполинских чашах Зодиака идет развес обилий всевозможных».

Давно я не читала стихов такого могучего и искреннего, жизнеутверждающего накала. Иногда кажется, что рукой поэтессы водит некий полемический задор. Но с кем она спорит? Кто этот неисправимый пессимист, который не верит даже такому: «Как ветрено! Как превосходно! Как пасмурно! Как хорошо!». Мне кажется, что очень часто Ю. Мориц спорит сама с собой, убеждает себя, в себе поддерживает бодрость духа и веру в силу любви: «Не стану сиротой, покуда я люблю окно, кирпич в стене, разбитое корыто».

«Нет, мне талант любви не изменил», — отвечает она уверенно на чей-то каверзный вопрос, заданный, очевидно, в трудную минуту.

Все хорошо. Так будь самим собой!  
Все хорошо. И нас не убывает.  
Судьба — она останется судьбой.  
Все хорошо. И лучше не бывает.

Этот диалог поэта с самим собой, Призыв быть мужественным и не поддаваться невзгодам. Это не бездумный оптимизм, а преодоленное отчаяние, побежденная беда.

Любовь остается стимулом, толчком к творчеству, она питает слово и строку.

И некая тяга  
ломила ребро,  
и некая влага  
поила перо,  
неро и бумага,  
любовь и отвага  
творили добро,  
насыщая нутро.

«Перо и бумага, любовь и отвага» способны творить добро и преобразовать мир. Это вторая связывает Ю. Мориц с великими традициями русской поэзии. Слово — не только предмет игры и источник эстетического наслаждения, но кирпичик дома, жилища для души человеческой. Вдохновение, воображение, талант — силы, способные воздействовать на мироустройство. И воздействию слова подвержены не избранные, «...и блаженством, как силой небесной, все настигнуты, до одного». Более того — даже сад «не просит от нас, как и мы от него, ничего, кроме слова и света». В стихах Ю. Мориц природа начинает говорить на языке поэзии: «И ветер, и тополь, и пруд, и ограда оставили жесты, прибегли к словам».

Так, значит, все доступно всем и каждый может увидеть мир прекрасным и услышать и понять голос Поэзии? Да, конечно, все и каждый. Но с одним условием: «Пускай поющую пружинку судьба не повредит ни в ком».

Вот откуда демократичность, доступность поэзии Ю. Мориц. Вот откуда ее доверие к читателю и умение говорить с ним на равных. Она никогда не вещает свысока, не поучает, не проповедует. Она никогда не заискивает, не сюсюкает, не подделывается под «среднего читателя». Она просто верит в «поющую пружинку» внутри каждого из нас. Она умеет донести до нашего слуха самую негромкую мелодию жизни.

Плыл кораблик вдоль канала,  
там на ужин били склянки, —  
тихо музыка играла  
на Ордынке, на Полянке.

Я как раз посерединке  
жизни собственной стола, —  
на Полянке, на Ордынке  
тихо музыка играла.

Воображение — сила столь животворная, что у Ю. Мориц даже ребенок — «плод воображения». Шутливо, изящно, но пронзительно-нежно и серьезно: «Спит мое мечтание, плод воображения, вот ему питание — от стихосложения». Детство в представлении Ю. Мориц неотторжимо от вдохновения. По ее мнению, взрослые люди оттого зачастую не могут быть счастливыми, что утерятили черты, присущие детям, детству. Об этом Ю. Мориц писа-



ла много, писала всегда. «И пока не поставят на место, будем детство свое продолжать». Что значит продолжать детство? Наверно, это значит, несмотря на все потери и утраты, не терять веры в добро, веры в себя и в людей.

Ах, страны есть на свете,  
в которые попасть  
умеют только дети,  
и то не все, а часть.

И еще одно строгое предупреждение: «Не променяй же детства на бессмертье». Пожалуй, мы впервые встречаем противопоставление таких разных категорий. Детство и бессмертье? Да еще, по мнению автора, детство дороже и важнее бессмертия. (Выше мы уже говорили, что в глазах Ю. Мориц, бессмертие достаточно неудобная и обременительная штука, вот детство — другое дело!). Не случайно лучшие, я бы сказала, хрестоматийные стихи Ю. Мориц посвящены детям. (Вспомним «Стихи о солнце», которые в свое время произвели такое сильное впечатление, или «Зейдер-Зее», в котором всех «поголовно тянет в детство»).

Всем ясно, что раз в стихах Ю. Мориц такое важное место занимают дети, то должна звучать в них и тема материнства. Когда поэтесса говорит об этих чувствах, таких простых и всем понятных, голос ее приобретает необычайную мягкость и проникновенность. Смотрите, какой неожиданный поворот, какие неблизкие понятия брошены на чашу весов, когда подводится итог всей жизни:

...Я буду еще умирать,  
простынку в комок собирать,  
навски себя покидая.  
Угла не имела, котла,  
здоровья, такого тепла  
блаженного — не от огня,  
но мама какая была у меня!  
Красивая и молодая!

Эти строки пробьют себе дорогу к любому сердцу и в комментариях не нуждаются.

Вообще, когда Ю. Мориц очерчивает круг своего земного бытия, оно оказывается вполне обычным и нет в нем ничего «надмирного», недоступного простым смертным.

...И чей-то ключ навек замкнул на мне  
тяжелые, таинственные цепи:  
одну — перебирали мать с отцом,  
другую — сын, а третью — друг.

С четвертой  
играла Муза, черная лицом  
и белая тетрадью распростертой.

Пожалуй, только четвертая цепь выводит автора из рядового человечества.

И через несколько страниц мы читаем посвящение сыну, где речь идет о четырех безднах (там было четыре цепи, здесь — четыре бездны). И меня за спиной три бездны: одна — только утром при розовом солнце видна» (допустим, что это детство), зрелость — «там три пруда тончайшей поваренной соли я съедаю, водой запивая сырой...» и т. д. Опять-таки ничего от избранника божия, и все как у всех: болезнь, заботы, wspomинания, надежды.

Героиня Ю. Мориц — не пророчица, а труженица. Даже у Музы — натруженные руки. Здесь в каком-то смысле определяющим является настроение первого стихотворения сборника:

Когда плыву за цельным молоком,  
За хлебом и стиральным порошком,  
А рядом парус мой идет пешком, —  
Не оттого ль душа моя здорова,  
Что нить моей основы так сурова?

Вот истоки поразительной внутренней свободы и уверенности в себе, цельности и какого-то гордого покоя. Иногда кажется, что лирическому герою Ю. Мориц неведомы модные комплексы и бесконечные рефлексии по самому ничтожному поводу. Он не бьет себя кулаком в грудь и не навязывает читателю своих исповедей, свидетельствующих о слабости и близости к самоубийству. Герой этой поэзии — личность здоровая и цельная (и если это не абсолютная цельность, то явное стремление к этой цельности и простоте, что отнюдь не исключает сложности, трагизма, мучительных попыток разобраться в окружающем мире и в себе).

Большинство стихотворений Ю. Мориц воспринимается как ответ на самые большие вопросы современного бытия. Цельность и душевное здоровье не мешают поэту говорить и такое:

Храни меня от мрачного разлада,  
Судьбу от сил нечистых отреши,  
И знак подай, что мудрецу не надо  
Теснить безумца из моей души.

И еще одно важное признание: «Едва ль моя душа смогла бы сделать выбор — сломать стереотип и предпочесть сумбур...».

В конечном итоге — это извечный спор меж чувством и разумом, меж «духовной» мощью и телесной немощью», между «временным и вечным» (хотя бывают минуты, когда эти антагонисты, антиподы счастливо сочетаются — «у временного с вечным не дрогнул равновес». Но все мы знаем, как редки такие минуты, когда мир нежен и наивен):



Когда мы были молодые  
и чушь прекрасную несли,  
фонтаны били голубые,  
и розы красные цвели!

Я избегала приходить к обеду  
В дома друзей в четыре или в шесть.  
Я тихо шла по золотому следу  
И не писала так, чтоб лучше быть.



Чего здесь больше — иронии или горечи, смешки или сожаления? Впрочем, и то, и другое придется принять, ибо «мир един и двойствен в каждом звуке, и в первом плане глубже дышит план второй».

Второй план, подтекст все время проглядывает даже в самых ясных и «простых» стихах Ю. Мориц. Их никогда нельзя исчерпать до конца, нельзя пересказать своими словами, нельзя переложить «на прозу». Они всегда понятны, но в то же время несут в себе некую поэтическую тайну, которую каждый раскрывает по-своему, подставляя под универсальный емкий символ себя, свою боль, свою судьбу. Ну как пересказать, скажем, вот это:

То ли плеск, то ли бульканье зяблика,  
то ли вздох, то ли блик, то ли всхлип,  
то ли в облачной области яблока,  
то ли в зарослях ветреных лип.

В чем тайна очарования этих строк? В чем секрет их власти над нашим воображением? Почему мы твердим их на память, упиваясь их ненавязчивой музыкальностью и легкостью, присущей лишь истинному искусству? Это стихотворение кончается такими строками: «...душа моя вечно находится у какого звука в плену». Так вот, душа, чуткая к поэзии, несомненно, попадает в плен этих (и многих других) строк, принадлежащих зрелому перу Ю. Мориц. Зрелость, по мнению Ю. Мориц, прекрасна, она ничем не хуже юности или даже детства: «Но бытности чудо не в десять, не в двадцать, а полностью в тридцать дано ощутить».

Как это понимать? И в десять, и в двадцать жизнь все равно — чудо, но попробуйте ощутить ее как чудо, когда за плечами у вас горький опыт, поражения и разочарования! Но у Ю. Мориц всегда торжествует жизнь, и это напоминает нам здоровый дух живописи и литературы Возрождения, кстати, откровенно любимого нашим автором. Но Ю. Мориц считает этот несгибаемый оптимизм не только собственной заслугой: «Но жертвенно и благородно шло время дух во мне». Не совсем обычно, правда? Как правило, люди склонны винить во многом время и совсем немного — себя. Здесь наоборот. Однако есть и другие строки, из которых следует, что время-то как раз шло не всегда, и тогда на помощь приходило неукротимое стремление «не приукрасить модель» и «избегнуть вранья».

Вообще в стихах Ю. Мориц мы всегда ощущаем какую-то сдержанность в житейских аппетитах, гордую скромность, умение довольствоваться малым, способность быть благодарным за глоток молока или вина. Даже Кавказ не толкнул Ю. Мориц к воспеванию пыльного изобилия. (В стихотворении «Южный рынок», где сама тема оправдывает всяческие излишества, автор больше склоняется к описанию «чувственного заряда слов», бурлящих в стихе и прозе. В глазах поэта прекрасны не столько сами фрукты, сколько их названия: «Прекрасны фрукты имена! Господь назвал их и развесил в те золотые времена, когда он молод был и весел»). Предметный мир, мир вещей в стихах Ю. Мориц весьма ограничен, в него входит лишь самое необходимое. Ее стихи — не лавка антиквара и не меню модного ресторана. Вещи для нее существуют лишь как отражение мира духовного, и она прибегает к их помощи, когда они действительно необходимы. Этот своеобразный аскетизм ощущается очень остро. Сродни этому качеству и та особая «духовность», которая заставляет нас поверить, что душа столь же плодородна и могуча, как и земля. Отсюда же вера в «поэзии физическую мощь». Поэзия — помощник и спаситель. К ней можно обратиться в самые тяжкие минуты, и она защитит: «Ко мне работа так добра, когда случается несчастье».

День поэта, как и вся жизнь, складывается из слов и букв — очень показательно подобное ощущение себя и своего бытия. «Никогда никто потом по буквам этот день не сложит». Но мы сейчас как раз и занимаемся этим — складываем, как мозаику, день поэта из смальты образов и звуков.

Стихотворные строки для Ю. Мориц — ступени, ведущие ввысь и вглубь. Они пластичны, подвижны, имеют протяженность во времени и в пространстве: «Мне кажется, я никогда не сумею добраться от первой строки до второй», «Никто не знает, как длинна дорога от первого двуступня до второго». Знакомы ли Ю. Мориц муки творчества? Наверно, знакомы, но увенчаны они такой счастливой легкостью и виртуозностью, что невольно забываешь о родовых муках. Какой знакомый, грузинский запах у такой метафоры: «И воздух нежен, как печенка оленя, снятого с костра». А вот образ городской, современный применен к библейской смоковнице: «Инжир в кожурках из вельвета». А вот сравнение свежее и очень женское: «А это любимый, он пахнет слезами».



словно бензином шофер в гараже». Образ, роднящий стих с графикой, — «и недостроенный квартал казался судоверфию». А какой простор открывается за этим четверостишием:

Смотри, в колоннаде музея  
Такие прозоры,  
Что горы пройдут, не худея,  
Не скомкав узоры.

Тут и там в стихах Ю. Мориц рассыпаны щедро меткие наблюдения («как восточная сладость, тает окрика звук», у Сагира в глазах «не видно взгляда», «небо... темно, как заколоченный сарай» и т. д.).

Стих Ю. Мориц динамичен и лаконичен. В пяти строках вся драма и ее развязка:

Мимо! Будет то, что будет,  
Мед согреет, лед остудит,  
Ум возрадет, душа осудит,  
Будет сын тебя любить,  
В уши музыка трубить.

И наконец, такие стихи, как «След в море», «Моцарт», «Рождение крыла», «Осенний утренник», «Приход вдохновения», «Стихи о феврале», — трудно удержаться, чтобы не продолжить этот перечень, без которого сегодня невозможно представить себе облика современной русской поэзии.

И третья нить, которая привязывает поэзию Ю. Мориц к великой поэзии ее предшественников, — это приверженность к стиху классическому, ясному, лишенному вычурности и жеманства. Современность стиха Ю. Мориц не во внешнем изыске, а в самом мышлении, в способе поэтического освоения мира. Строка Юанны Мориц не ребус, но и не кроссворд, когда заполненная вертикаль диктует нагасканному слуху горизонтальную рифму. Речь в стихе свободна и внятна, и кажется, что в ином обличье та или иная мысль все равно бы не смогла появиться на свет. Это ощущение точного попадания, невозможности сказать о том же самом иначе — неотъемлемое качество подлинной поэзии.

И последняя (придерживаясь «магического» числа, названного автором), четвертая нить, ведущая от поэзии Ю. Мориц к давней и прочной традиции русской литературы, — это грузинская тема, вернее, тема Грузии, занимающая в творчестве Ю. Мориц особое место.

Грузия для Ю. Мориц не географическое понятие, не экзотический рай, не декор и не орнамент, не веселая оперетта, в которой хозяева давно отрепетировали свои роли, чтобы развлекать гостей, не посрамив пресловутого гостеприимства. Грузия для Ю. Мориц — это состояние ду-

ши, это редкое и тем более необходимое ощущение всей неохватной полноты бытия, это переполняющее чувство благодарности к миру, к людям, это внезапный подъем всех творческих сил и внезапная любовь, это покой и просветление... В Грузии для Ю. Мориц сосредоточены самые удивительные явления и события. «Где-то рядышком, из рая, но совсем не свысока, пела нежная валторна, к этой ночи собирая все разрозненное в мире, все разбросанное ветром за последние века».

Андрею Битову, недавно опубликованному в журнале «Дружба народов» свои впечатления о Тбилиси, наш город тоже показался тем уютным и теплым местом на земном шаре, где люди умудрились сохранить какие-то милые и добрые приметы старины, без которых жизнь часто терлет свое обаяние и без которых человеку холодно и одиноко в этом мире. Бросается в глаза совпадение ощущений таких разных художников, как Андрей Битов и Юнна Мориц.

С легкой руки Маяковского и Пастернака приставка «рай» стала неразлучным спутником Грузии. Не обошлась без рая и Ю. Мориц. Но для нее этот рай обращен внутрь, а не вовне, это бессмертные плоды души, а не яблоки с золотой яблони:

Давай, душа, давай  
проникнем за ограду,  
там роковой трамвай  
бежит по снегопаду.

Узнаете? Это же Тбилиси, город, в котором поэт ищет покоя и просветления. А вот «Осень в Абхазии» — и снова на палитре этот спасительный розовый цвет — цвет детства и мечты. «Рассвета розовое древо шумит надеждами во мне, и тень моя уходит влево с двумя крыльями на спине».

Грузия становится для Ю. Мориц синонимом заветного уголка души, в котором она черпает силы, чтобы жить и творить дальше. Правда, есть стихотворения, где Грузия — только фон для главной темы, для монолога о себе. Так выглядит «Ночной Тбилиси», где город сам по себе, а лирическому герою не до него, так он поглощен своей бедой, но и здесь поэт находит точный штрих к портрету древнего города: «Я вижу город на холме, он спит с улыбкой фараона».

А вот другое стихотворение, где мотив Грузии сливается с мелодией сердца и приносит истрадавшей душе желанное обновление:

...и начат новый счет,  
Прекрасный, сладкий дым уносится  
в трубу,  
И хочется свобод, и к жизни так  
влечет,  
Что никакая муть не омрачит судьбу.



Тою же полнотой жизни отмечено «грузинское» стихотворение «Июль» и «Осенний юг». Здесь хочется сказать несколько слов о переводах Ю. Мориц из грузинской поэзии, к сожалению, не многочисленных, но всегда безошибочных. Мы помним, как хороши были ее переводы из Тамаза Чиладзе и Отара Чиладзе, как удавался ей Джансуг Чарквиани. Больше других «повезло» стихам Гиви Гегечкори. Ощувив с этим поэтом некое родство душ, правда, не часто, но последовательно и преданно обращается Ю. Мориц к его творчеству. Переводы Ю. Мориц дышат тою же подлинностью и неповторимостью, что и ее собственные «оригинальные» стихи. Недаром у нее вырвалось как-то: «Надышать бы в переводы первобытного тепла». Хочется пожелать ей успеха в этом благородном деле. Пусть грузинская поэзия станет ее помощницей на нелегкой стезе творчества, о которой сама поэтесса сказала с предельной выразительностью:

...там играла лира.  
Я шла одна. И судя по всему, **ЭЛР036940**  
Мой путь лежал в такую область **ИМР010333**  
Куда, как в рай, идут по одному.

Так о чем же последняя книга Юнны Мориц, названная так откровенно и выразительно — «Суровой нитью»?

**О** чем? Как все искусства. **О** любви.  
**О** сладости духовного страдания.  
**О** нестерпимом счастье быть людьми  
**И** ведать бездны нашего сознания.

В сущности это четверостишие лучше любой рецензии передает суть содержания нового сборника Юнны Мориц, и в таком случае наша задача сводилась лишь к расшифровке, комментарий к этому четверостишию, как, впрочем, и к остальным.





**С** НЕЗАПАМЯТНЫХ времен Грузия поддерживала интенсивные культурные и государственные отношения с народами разных стран. В ходе этих контактов нередко возникали личные дружеские связи с представителями других национальностей. Да и в самой Грузии свободно жили и мыслили граждане всех национальностей и вероисповеданий. Так, здесь находили убежище изгнанные с Востока за свободомыслие писатели-магометане, несмотря на то, что магометанские государства как раз и разоряли тогда грузинские земли.

Такое внимание и уважение к представителям других национальностей, как выражение одного из свойств национального характера, естественно, получило отражение в грузинской литературе, для которой с самого начала ее развития характерны гуманистические тенденции, проявившиеся, в частности, в утверждении идеи дружбы народов. Даже для такого древнейшего памятника грузинской литературы, как сочинение Якова Цуртавели, совершенно чужда национальная замкнутость. Напротив, через все произведение красной нитью проходит чувство уважения и любви к соседнему армянскому народу. С малых лет Шушаник удочерила и воспитала грузинская семья, сроднившаяся с ней. В свою очередь воспитанная в Грузии прекрасная Шушаник отвечает ей тем же. С любовью и уважением относится она к своему воспитателю — грузинскому феодалу Аршущу, с чувством почтения и благодарности говорит о его деятельности и заслугах.

**ГРУЗИНСКАЯ** художественная литература является древнейшей литературой не только народов СССР, но и всего цивилизованного мира. Непрерывный, более чем пятнадцативековой протяженности, литературный процесс, вобравший в себя все литературные течения и творческие методы, развивающийся на базе одного живого литературного языка, не изменившегося в своей основе за многие тысячелетия, — уникальное явление. В то же время это наименее интересный предмет научного наблюдения, дающий богатый материал для широких обобщений.

К сожалению, до недавних пор древнегрузинская литература преимущественно рассматривалась как вид церковной литературы в системе христианских литератур Востока. Ныне же широким фронтом ведется исследование ее художественной сущности и неповторимого своеобразия.

Редакция решила опубликовать две статьи грузинских исследователей, посвященных этой важной проблеме. Одна уже опубликована. В этом номере предлагается вниманию читателей статья доктора филологических наук профессора Реваза Барамидзе.

Яков Цуртавели с большим мастерством рассказывает о взаимном уважении и теплых дружеских отношениях грузин и армян, о царящем между ними взаимопонимании. Они всегда вместе — и в горе, и в радости...

# ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Тенденция уважения к другому народу проявляется и в «Житии Нино». Все персонажи негрузинского происхождения этого произведения обрисованы только с положительной стороны.

Примечателен и тот факт, что перс Евстафий обосновался в Грузии не только по религиозным соображениям, но и потому, что был принят здесь исключительно тепло и сердечно. Местный быт и национальные традиции настолько пленили его, что он поселился тут и женился на грузинке. Жители Мцхета приняли его как своего, и он жил одной жизнью с ними. Поэт-академик Г. Леонидзе однажды высказал такое предположение: «...Огрузинивание представителей других народов, принятие ими христианства нельзя объяснять только религиозным фактором. Не меньшее значение имел и непосредственный, живой контакт. Например, Евстафий был ремесленником, он попал к ремесленникам; у грузинских ремесленников был свой, привлекательный быт, красивое застолье; между ними царил мир и взаимопонимание, взаимопомощь, — и, очевидно, наряду со всеми другими



факторами, это тоже привлекло сердце чужестранца».

Видимо, так произошло и с Евстафием.

Неменьшее влияние имели характер, нравы и обычаи нашего народа и на араба Або, который со дня знакомства с Нерсе Эристави уже не чувствовал себя чужим среди грузин.

Эти факты — лишь отдельные элементы проявления идеи дружбы между народами. В литературе последующих веков она получает все более четкое и полное выражение, достигая завершенности в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Подобное сближение представителей разных народов отражено в ряде литературных памятников.

В «Житии Иоанна и Евфимия», например, описано, с каким гостеприимством и радостью встретили в Иверийском монастыре на Афоне римлянин: «Пока был жив отец Иоанн, прибыл некий монах из Рима, человек, прославленный милосердием... Пришел он с шестью учениками помолиться на этой святой горе. Приняли его как близкого и с радостью приютили, и просили его остаться здесь, и говорили: «Здесь и мы чужие, и вы чужие», и убедили их остаться в одном монастыре с ними» (с. 30, год изд. 1946, на груз. яз.).

Грузинские монахи радушно приглашают римлян к себе в монастырь, но, чтобы они не чувствовали себя стесненными, с большой непосредственностью и искренностью предлагают им купить для них здесь же место и помочь построить тут свой монастырь, где они смогут устроиться по своему усмотрению: «Мы купим вам место и поможем во всем». Так римские монахи сжились с грузинскими, а Габриел Атонели стал любимейшим другом их настоятеля Лео-на.

Грузинские монахи на Афоне, развернув в широких масштабах культурно-просветительную работу, прежде всего установили научные контакты с различными иностранными государствами, подружился с учеными многих стран. Римлянин Леон был не единственным, с кем афонские книжники поддерживали деловые и дружеские отношения, характеризовавшие и связи Иоанна Атонели с католикомом тогдашнего культурного центра Фесалоники. «В те дни был в Фесалонике некий католикос, человек, исполненный святости и благодати, большой друг отцов наших, и был обычай у отца Евфимия часто посещать его, а порою и тот приглашал отца нашего» (с. 31). Вообще в сочинении Георгия Мтацминдели внимание заостряется на дружбе и культурных связях грузинских монахов с представителями других народов. В этом же памятнике

речь идет о том, как дети разных народов приходят в грузинский монастырь на Афоне, принимают крещение и общаются к грузинской культуре. В примере: «А еще пришел Гвирлей, армянин по происхождению, и окрестился, и нарекли его Арсеном».

Такая популярность афонского Иверийского монастыря свидетельствует о том большом авторитете, который снизкала ему, как культурному центру, развернутая там научная и литературная работа. С другой стороны, из этих эпизодов мы узнаем, что грузинские монахи на Афоне встречали представителей других народов по-дружески, с любовью и помогали им всем, чем могли, — начиная с материальных средств и кончая научными консультациями.

И научно-литературные контакты, и личные дружеские отношения с иностранцами, и радушный прием, который оказывался в Грузии представителям других народов, обосновавшимся на грузинской земле, весьма убедительно и в довольно реалистических красках отражены грузинскими апографами.

И в других памятниках грузинской литературы подчеркивается глубокое уважение деятелей грузинской культуры к иным народам, к их культуре. Красноречив в этом отношении эпизод, изложенный в «Житии Иллариона»: призвав к себе находившихся в Фесалонике грузинских монахов, царь Василий предложил им выбрать и взять себе любой из греческих монастырей, на что они ответили: «Царь, невозможно это нам, чужим, захватить построенное другими и изгнать тех, кто строил, и вместо благословения навлечь проклятия на царство ваше. Не будем делать этого, государь, не будем!» (Афонский сборник, 1901, с. 100, на груз. яз.) Этим своим категорическим заявлением грузинские монахи ставят уважение к другому народу на принципиальную высоту, подчеркивая, что достоинство, культуру других народов следует ценить и уважать. И эту мысль автор развивает с чувством меры, с большим тактом.

Несмотря на религиозно-исповедальное назначение ранней грузинской прозы, национальный вопрос всегда имел в ней существенное значение. В целом ряде памятников он поставлен в одну плоскость с вопросом вероисповедания. Но такое осмысление дается лишь при условии угрозы национальной самобытности. Когда же дело касается только вероисповедания, грузинские писатели и мыслители никогда не отождествляют этих двух вопросов, более того, полностью разграничивают их. И как бы чужда ни была им та или иная религия, они никогда не оскорбляют национальных чувств тех, кто ее исповедует.



Хотя после армяно-грузинского церковного раскола грузинские церковные деятели вели борьбу с григорианской церковью, они, за редким исключением, почтительно, с уважением продолжали относиться к самому армянскому народу, к его национальным чувствам.

Интересно с этой точки зрения сочинение католикоса Арсена «К разделу...». Основу религиозного раскола между грузинами и армянами автор ищет в историко-политической обстановке. По его убеждению, этот раскол был вызван не религиозными поисками, не самостоятельными национальными позициями этих народов, а теми сложными историческими обстоятельствами, в которые они попали в то время. В частности, их политическое и религиозное единство представляло крупную государственную силу в Закавказье и служило значительным препятствием для экспансивных притязаний персов. Поэтому армяно-грузинский религиозный раскол, который в тот период мог перерасти в недобрососедские государственные отношения, создавал благоприятную политическую атмосферу для чужеземных захватчиков. Этим и объясняются исключительная заинтересованность персов вопросом вероисповедания армян и грузин, их весьма активное вмешательство в его решение. Этот важный факт не ускользнул от внимания Арсена — и он делает его предметом специального обсуждения: «...ибо цари персидские вынуждали армян отделиться от греческой церкви, стремясь путем раскола в вере посеять вражду между ними и тем самым сделать армян более покорными царству персидскому, и за это обещали награду большую отцам армянской церкви» (Т. Жордания. Хроники. «К разделу...», т. 1, с. 329, на груз. яз.). Как видим, в этом расколе автор обвиняет не столько армян, сколько персов, утверждая, что те принуждали их к расколу. Следовательно, по мнению Арсена, основная причина его крылась не в настроениях самих армян, не в их отношении к грузинам, а в создавшейся политической обстановке, когда армянам пришлось подчиниться принуждению со стороны. И тут налицо пронизательность Арсена, которому ясны их намерения: изолированную от православного мира Армению захватить легче или, как отмечает автор, «тем самым они будут более покорны царству персидскому». Таким образом, Арсен довольно точно представляет себе и объясняет политико-исторические основы этого раскола и, как видим, главной его причиной считает не самостоятельный политический курс армян, не их личные симпатии и ориентацию, не столько религиозный фактор, сколько

постороннее влияние, вызванное их безвыходным положением.

«К разделу...» — не художественное произведение, но мы сознательно обратили на нем внимание, чтобы показать, что даже в памятниках полемического характера отсутствуют предвзятость и односторонность. По своей основной тенденции этот документ перекликается с ярко выраженной в грузинской художественной прозе идеей доброго отношения к другим народам.

Поскольку речь шла об отображении в ранних грузинских памятниках дружеского расположения к другим народам, о симпатии, с которой грузинские монахи, как основные персонажи древнегрузинской прозы, относились к представителям иных национальностей, может возникнуть вопрос — не обусловлено ли это христианским космополитическим мировоззрением?

Выявленные в нашей литературе симпатии к другим народам, являясь выражением национальной традиции, опирались на реальные взаимоотношения, а не на религиозные принципы.

Сознание собственного национального достоинства никогда не перерастало у грузин в неуважительное отношение к другим народам. Национальные чувства всегда были для них святыней, а потому они ценили их и в других.

В национальном вопросе грузинский народ всегда был демократичен и великодушен.

В Грузии с незапамятных времен с искренним радушием встречали представителей разных народов, создавали им все условия для спокойной, мирной жизни.

Летописцы сохранили сведения о том, что еще в далекой древности чужестранцы устремлялись в Грузию и находили здесь убежище: «А в ту же пору прибыли тюрки, двадцать восемь дымов... И явились к мамасахлису мцхетскому, обещали тому помочь против персов. А мамасахлис мцхетский оповестил всех грузин. Пожелали они поддаться с тюрками.

Большинство же из них пришли и нашли место одно во Мцхета, к западу, между двумя скалами, и испросили то место у мамасахлиса мцхетского. Отдал им, и застроили его, огородили прочно, и было названо то место Саркине.

И были эти тюрки и грузины дружественны друг другу».

Этот эпизод — несомненное подтверждение дружбы между народами.

Братское отношение грузинского народа к другим народам находило признание во всем мире, и потому сюда стремились племена, подвергавшиеся гонениям и притеснениям. Так, в Грузии укрылась часть евреев от погрома,





учиненного Навуходоносором: «Тогда царь Навуходоносор разгромил Иерусалим, и бежавшие оттуда евреи пришли в Картли».

Грузинский народ понимал чужую беду и давал приют на своей благодатной земле всем, кто нуждался в помощи. Гонимые и преследуемые у себя на родине чувствовали себя здесь в безопасности.

Это гуманное чувство, здоровый космополитизм грузинского народа и был подмечен Леонтием Мровели, который писал: «И в те времена кто бы ни пришел в Грузию, гонимый — будь то из Греции, Сирии или Хазарского ханства, — всех дружелюбно и радушно принимали грузины».

Грузины не теряли равновесия в национальном вопросе не только в мирное время, но и в разгар битвы. Азарт боя и то не мог заглушить столь характерного для них свойства, и они проявляли исключительное благоразумие в отношении к врагу. Даже опыненные боем воины оказывались поразительно великодушны к побежденным. Они никогда не опускались до погрома мирного населения, до насилия. Так, Вахтанг Горгасал после победы над понтийцами распорядился не причинять вреда населению. Это было необычно в подобных обстоятельствах и настолько поразило противника, что, как пишет Мровели, «понтийцы вышли навстречу и воздали хвалу и благодарность царю Вахтангу за то, что он не предал их смерти» (с. 172).

Как известно, в древности победившее войско угоняло пленных в рабство. На фоне этой общей военной этики грузинский царь, оставаясь к ним великодушным и человечным, проявляет почти невообразимую гуманность. Он отдает распоряжение об освобождении 70.000 пленных греков и об отправке их на родину. Великодушие Вахтанга поразило как кесаря, так и все население Греции: «Когда сказали (кесарю. — Р. Б.), что пленные, захваченные царем грузинским, освобождены, тогда возрадовался весьма, и всех покинула скорбь» (с. 177).

Как видно из сказанного, одним из существенных моментов в идейном содержании творчества Леонтия Мровели является мотив развития солидарности между народами. Эта тенденция особенно отчетливо выявлена во взаимоотношениях народов Кавказа.

Леонтий Мровели развивает концепцию, согласно которой населяющие Кавказ народы представляют единую большую семью, связанную родством; у них один общий предок, и поэтому они должны жить в дружбе, руководствуясь общими интересами. Автор настойчиво утверждает, что «у армян и грузин,

ранцев и моваканцев, у лезгин и кавказцев — у всех у них был один предок по имени Таргамос» (с. 3).

Неоднократно возвращаясь к вопросу единства кавказских народов, Мровели стремится утвердить эту идею как среди своих соотечественников, так среди соседних народов. Он говорит: «Спустя немного времени призвал Хаос тех семерых героев (грузин, ранцев, моваканцев и других), собрал их и сказал: «Дал нам великий бог силу и множество родственных племен наших. Отныне, с помощью создателя, не будем ничьими рабами, никому не станем служить, кроме бога, создателя нашего».

Эти полуполюгендарные сведения, безусловно, спорны и требуют уточнения. Но в данном случае нас интересует целенаправленное стремление автора развить и укрепить единство народов Кавказа. Такая идейная направленность выходит за рамки национальной ограниченности и выражает, с одной стороны, интернациональный дух, с другой — политическую прозорливость и мудрость. Таким путем Мровели подготавливает почву для идеи создания объединенного кавказского государства, способного противостоять захватническим притязаниям крупных соседних государств, их разорительным нашествиям. Для подкрепления этой идеи автор приводит исторический факт выступления против вторгшейся на Кавказ многочисленной рати Неброта объединенного войска народов края, обратившего противника в бегство: «Но когда подступили войска Неброта, вышли им навстречу семь братьев Хаоса с войском могучим» (с. 21) и нанесли врагу жестокое поражение, а «семь этих братьев вернулись в свои страны». В братских отношениях населения Кавказа, объединенными силами способного противостоять захватчикам, и заключается идеал Мровели.

Популяризируя солидарность народов Кавказа, грузинский летописец исключительно большое значение придает установлению добрососедских связей между грузинами и армянами, на дружеских взаимоотношениях которых заострено особое внимание.

Большое уважение и симпатию он выражает к армянскому народу, с неизменным восхищением повествует о его победах, с воодушевлением говорит о войнах-армянах, с похвалой отзываясь об их доблести. И все это вызывает его искреннюю радость.

Восхваляя армянских царей и военачальников, Мровели подробно описывает их борьбу и яркими красками рисует их рыцарский облик. Особенно пленен он доблестью легендарного героя армянского народа — Хаоса. Возможно, в данном случае летописец опирается на тот или иной армянский источник,



но для нас важно, что в вышеприведенной цитате наряду с историческими сведениями содержится личное, преисполненное симпатии отношение автора к этому герою, что весьма симптоматично, ибо выражает стремление пробудить в соотечественниках добрые чувства к нему и тем способствовать укреплению грузино-армянских отношений, упрочению уважения к соседнему народу.

Показательно, что и после религиозного раскола передовая грузинская интеллигенция настойчиво проповедовала дружбу этих двух народов, исторически тесно связанных друг с другом, предпринимала все для того, чтобы, показывая положительные стороны армянского народа, помогать установлению добрососедских отношений с ним.

Помимо гуманистического, это имело и чисто политическое значение. Проповедование идеи армяно-грузинского единства обуславливалось и единством историко-политических интересов этих народов. У них был общий внешний враг, и это делало необходимым объединение их военных сил. Каждого в отдельности победить было легче. Исходя из этого, Леонтий Мровели специально рассказывает о таких исторических событиях, когда грузины и армяне боролись плечом к плечу и благодаря этому без труда побеждали общего недруга:

«Тогда армяне и грузины наши удобный момент, и изгнали персов и укрепили крепости и города свои». И там же замечает: «И объединились все родственные племена Таргамоса». Это заявление выражает не только концепцию самого летописца, но и общенародные настроения.

Чувство уважения и заботливого отношения к другим народам, идея дружбы народов, выраженные в грузинской литературе доруставелевской эпохи, являются примечательной стороной дум и устремлений народа. Яркое подтверждение этих общенародных устремлений — одна из основных тем народной словесности.

Идея дружбы народов, выдвинутая в ранней грузинской литературе, нашла свое полное развитие у Руставели. Поэт, воспитанный на национальной культуре, глубоко усвоивший замечательные традиции своего народа, придал этой благородной идее новое осмысление и размах.

Великий гуманист средневековья с исключительной теплотой и благовоением говорит о счастье людей, об их жизнелюбии. Он поразительно ярко обрисовал внутреннюю природу людей, их стремления и заботу о взаимном счастье. Персонажи «Вепхисткаосани», обладающие возвышенной душой, проник-

нуты чувством самоотвержения во имя друга, что обусловлено их беззаветной любовью к человеку вообще, а не только к отдельному, конкретному лицу. Главная суть, пафос произведения — именно в гуманизме. Руставели пламенно и убедительно воспевает человека, его достоинства и его счастье. Он утверждает любовь, уважение и сочувствие к человеку, к его благороднейшим устремлениям и идеалам.

Это чувство безграничной любви к человеку, естественно, привело великого грузинского поэта к идее дружбы народов.

Руставели специально сделал своих героев представителями разных народов, во взаимной дружбе которых символизируется именно дружба народов. Братская дружба и взаимовыручка трех благородных рыцарей органически связываются с дружбой трех великих народов.

Герои «Вепхисткаосани» — достойные сыновья своей родины, в них воплощены лучшие национальные черты их народов. Преисполненные человеколюбия, они свободны от какой бы то ни было национальной ограниченности. Самоотверженно преданные родному народу, они в то же время питают чувство глубокого уважения к национальному достоинству других народов. В поэме удивительно возвышенно представлена идея солидарности народов. Руставели совершенно чужды национальной ограниченность и предвзятость: он воспевает проявление всеобщих человеческих достоинств, лучшие идеалы и устремления человечества, радуется всему здоровому и человеческому, что придает его произведению необычайную силу и выразительность.

Обаятельный образ Автандила одинаково восхищает представителей разных народов мира, его в равной мере любят не только соотечественники, но и чужестранцы; его восхваляют и воспевают дети разных народов:

И пришли пред ним склониться тварей  
мира вереница,  
Звери с гор, из моря рыбы, крокодилы,  
с неба птицы.  
Инды, греки и арабы с двух сторон  
из-за границы,  
Франки, русские, иранцы и египтяне—  
мисрийцы<sup>1</sup>.

В «Вепхисткаосани» развивается идея уважения к человеческому достоинству личности. Поиск и оценка индивидуальных качеств в ней — основа отношений между людьми; именно потому

<sup>1</sup> Здесь и далее поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» цитируется в переводе Ш. Нуцубидзе, 1941, с. 970.





1953  
საქართველოს  
რესპუბლიკის  
საქართველოს  
საქართველოს

чужие друг другу герои легко сближаются, и их национальное различие не становится препятствием для проявления непосредственных и искренних чувств.

Араб Автандил и индеец Тариел легко сблизились и при первой же встрече «обменялись поцелуем, чужестранность не видна».

Такова и встреча мулгазанзарца Придона с Автандилом:

Не мешала их объятьям  
разность стран их и племен.

Подданные Придона, мулгазанзарское войско проявляют к Тариелу такую же теплоту и любовь, как и их владыка. С глубоким волнением рисует Тариел драматическую сцену расставания с ним:

Хоть и много горевали, настоял я  
на коленях войско плачет, обступив  
Мы с Придоном обнимались плача,  
Мы рабы твои до смерти—били воины  
Разлучились мы с Придоном, проливая  
На прощанье целовались, оглашали  
Войско плакало всем сердцем,  
Так, печальась, сын уходит  
от родительского взора.

Здесь описаны не только взаимоотношения рыцарей, но и отношение всего народа к чужестранцу. Руставели нередко особо выделяет отношение народа к тому или иному явлению, событию как общенациональное свойство. Индийский народ искренне полюбил араба Автандила и мулгазанзарца Придона, признав этих чужестранных рыцарей своими братьями:

Все спасителями чтили Автандила  
Воскликая: «Принесли вы нам даянье  
Их желанья исполняли, в каждом  
День-деньской в дарбаз ходили  
для приветствий и поклона.

Явным подтверждением дружбы между народами является и забота повелителя арабов о попавшем в бедственное положение индийском народе, который, обессилев от длительной войны с нападшими на индийскую землю врагами, находился под угрозой потери свободы и независимости.

Мудрый и благородный Ростеван, утверждает Тариела:

Ростеван в ответ: «Стесняться вам  
не надо, повелитель,  
Как вам лучше, так решайте, вы —  
судьбы своей вершитель.  
Автандил поедет с вами, как отборных  
войск водитель,  
И враги узнают ваши, что явился  
грозный мститель».

Сторонник идеи равноправия и свободы народов царь Ростеван считает недопустимым, чтобы Индия — страна большой культуры — была завоевана и порабощена чужеземными захватчиками. Поэтому он без колебаний посылает своих соотечественников во главе с любимым своим воспитанником Автандилом на помощь Тариелу, на опасную битву за освобождение Индии.

Необходимость столь большой жертвы Ростевану диктуют благороднейшее чувство дружбы, высокая идея свободы народов.

Подтверждением исключительно теплого отношения и любви великого поэта к человеку, его уважения к национальному достоинству и культуре служит и то, что для захвата Нестан в плен он ввел в поэму не какой-либо из реально существующих народов, а мифическое племя каджей. Пленившие Нестан каджи в то же время являются символом зла, а выносить столь суровый приговор какому бы то ни было народу — несправедливо и не соответствует гуманистическому мировоззрению Руставели. Это явилось бы, с одной стороны, жестоким предательством и оскорблением какого-нибудь народа и, с другой, проявлением определенной тенденциозности и национальной ограниченности, что никак несовместимо с высшей степенью прогрессивным мышлением великого поэта, с его удивительной любовью к человеку. Как справедливо заметил академик С. Джанашиа, «Руставели пощадил все известные ему племена и вывел на арену своего поэтического повествования образы народной мифологии (каджей). Даже в этой как будто незначительной детали видна глубина и сила идейного содержания «Вепхисткаосани»<sup>1</sup>. Продолжая эту мысль, академик А. Барамидзе заключает: «Руставели художественно обосновал бессмертие братства и дружбы народов»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> С. Джанашиа. Предисловие к сборнику, посвященному 750-летию «Вепхисткаосани», «Вестник», 1918, III, с. X.

<sup>2</sup> А. Барамидзе. Шота Руставели, 1958, с. 109.



# СПЛАВ ДРАГОЦЕННЫЙ...

**З**А ОКНОМ в осеннем пламени — молодые березки. Косые дожди обнажают простуженные деревья. Порывистый ветер гонит по земле золотой листопад. Грустная пора года, пора воспоминаний, разговора с собой наедине. Пережитое становится живым видением, возникают образы ушедших в небытие товарищей. «Иных уж нет, а те далече...».

Пусть эти скупые строки хоть в какой-то мере воспроизведут незабываемые черты их облика, помогут глубже разобраться в сложной общности их литературного наследия. На книжных полках моей библиотеки стоят подаренные ими книги — память о наших встречах, беседах, дружеских спорах. С тихой грустью я говорю себе:

— Когда же это было?

Это было лет сорок тому назад. В белорусскую столицу Минск приехали крупнейшие представители современной грузинской литературы Михаил Саввич Джавахишвили и его соратник и друг Николай Мерабович Лордкипанидзе. Приехали они в Минск из Киева без всякого предупреждения. В те далекие годы наши дружеские литературные контакты только начинали развиваться. Мало и поверхностно знали мы о грузинской литературе. Писатели Грузии тоже знали только о Янке Купале и Якубе Коласе по отдельным стихотворениям на страницах центральных газет. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» положило начало великому братству литератур народов Советского Союза.

...Вспоминается день 20 ноября 1933 года. Рано утром меня разбудил телефонный звонок бывшего председателя Оргкомитета Союза писателей Белоруссии Михаила Николаевича Клименко-

вича. Он поручил мне разыскать приехавших, обеспечить всем необходимым и обязательно организовать встречу с белорусскими писателями, познакомиться с жизнью нашей республики и народа.

На шестом этаже комфортабельной гостиницы «Европа» я разыскал номер, где они проживали, и несмело постучался. Дверь открыл, как мне показалось сразу, очень высокий седой человек — Николай Мерабович Лордкипанидзе. Он пригласил меня зайти в номер и потом сообщил, что вместе с ним приехал в Минск его товарищ — грузинский писатель Михаил Саввич Джавахишвили и что он на короткое время вышел в почтовое отделение и скоро вернется. Моя настойчивость сразу рассеялась. Николай Мерабович показался мне очень простым и приятным собеседником. Узнав, что я белорусский поэт и пришел по поручению Оргкомитета Союза писателей, он пригласил присесть, поинтересовался, кем я там работаю, что написал и что пишу.

— А как здоровье вашего Янки Купала, — спросил неожиданно он, — какую общественную должность он выполняет в Союзе, что написал за последнее время?

Я ответил. Николай Мерабович интересовался, можно ли купить его книгу «Над рекой Оросой», расспрашивал о Якубе Коласе. Немного подумав, будто что-то припоминая, спросил:

— А писатель Бедульдой живет в Минске? Что он написал за последний год? Его книгу «Соловей» собирается перевести наше издательство «Сахелгами».

Меня удивила осведомленность гостей в литературной жизни нашей республики. Конечно, Николай Мерабович немножко неправильно назвал имя нашего выдающегося писателя Змитрона





Бядули. Когда я вежливо поправил его, он, ничуть не смущаясь, рассмеялся.

— Вы не удивляйтесь — фамилии многих наших писателей искажают. Часто даже неудобно повторять. Чего не бывает, — слегка смутившись, сказал он.

Пока мы разговаривали, дверь тихо открылась, и на пороге появился пожилой человек невысокого роста, с ярко выраженными чертами кавказца. Черная, аккуратно подстриженная борода, посеребренная седина, придавала особую выразительность его лицу. Маленькие пронзительные глаза остановились на мне. Он сразу понял, кто я и по какому поводу пришел сюда. Мы познакомились и продолжили беседу. Михаил Саввич Джавахишвили был ростом ниже своего коллеги, но несколько моложе его. Ему хотелось, как мне показалось, сразу знать все. Он расспрашивал, сколько людей живет в нашей столице, сколько веков городу Минску. Потом просил рассказать, какие новые романы белорусских писателей переведены на языки народов Советского Союза, можно ли их считать на русском языке?

Постепенно беседа становилась все более интересной. Лордкипанидзе предложил в первую очередь посетить этнографический музей Белоруссии и посмотреть город Минск, его древнюю часть — улицу Немигу.

— Седая старина, — добавил он, — свидетельствует о том, что на берегах этой реки в былые времена происходили большие баталии. В «Слове о полку Игореве» отведено значительное место этим событиям.

Мне тут же пришлось сделать маленькое пояснение:

— Это правда, но сейчас как таковой реки Немиги не существует. Немига — это улица, торговый центр. Бывшее ее русло после значительной реконструкции взято в бетонную трубу, и трудно сейчас заметить следы той далекой истории...

...Мы шли по Ленинской и Советской улицам. Михаил Саввич и Николай Мерабович останавливались у витрин магазинов и пробовали читать вывески, написанные на белорусском языке. Правда, не все они сразу понимали, но достаточно свободно обходились без переводчика.

В Доме писателей нас встретили председатель Оргкомитета Михаил Николаевич Климович, писатели Эмиль Бядуля, Андрей Александрович, Пятрусь Бровка, Яков Бронштейн. Наши гости сразу почувствовали себя как дома, в своей писательской среде. А вот заходит и Янка Купала. Узнав о приезде грузинских друзей, он спешит

встретиться с ними. Знакомство, дружеские объятия сменяются оживленным разговором.

В зале заседаний Дома писателей царит праздничное настроение. На встречу со знаменитыми грузинскими писателями пришли работники Института литературы Академии наук — академик Замотин, профессор Пиотухович, известный писатель — академик Тишка Гартный, студенты Белорусского университета. В президиуме появляются гости, их приветствуют аплодисментами и преподносят цветы. В своем выступлении Михаил Джавахишвили говорил о развитии грузинской литературы, о своевременности постановления ЦК ВКП(б), сплотившего ряды нашей великой советской литературы. Он называл имена выдающихся грузинских поэтов — Галактиона Табидзе, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе, прозаиков, присутствующего Николы Лордкипанидзе, Константина Лордкипанидзе, Раждена Гветадзе, Константина Гамсахурдиа и других. Ослабовился Михаил Саввич и на своем романе «Арсен из Марабды», который только что вышел в издательстве «Художественная литература» на русском языке. Изобразительности мы учились, говорил он, у славных основоположников грузинского реализма, в частности у Ильи Чавчавадзе. Называя имена своих современников, М. Джавахишвили старался подчеркнуть в их творчестве то основное, что характеризует каждого из них. Представляя своего друга и нашего гостя Николая Мерабовича, он назвал его своим учителем, лучшим стилистом, автором многих романов и повестей, книга новелл которого, выходящая на русском языке в московском издательстве, представит грузинскую прозу. Михаил Саввич в знак нашей дружеской встречи подарил библиотеке Союза писателей Белоруссии свою книгу «Арсен из Марабды» на русском языке с автографом. Вечер встречи закончился большим концертом артистов белорусских театров и филармонии.

За дружеским ужином много говорилось о конкретных мероприятиях по продолжению братских связей. Николай Мерабович и Михаил Саввич пригласили белорусских писателей посетить Грузию.

После ужина Янка Купала предложил гостям посмотреть вечерний Минск.

\* \* \*

В программе второго дня пребывания гостей в Минске было посещение этнографического музея и поездка в Борисов в сопровождении белорусского поэта Андрея Александровича и глав-



ного редактора журнала «Полюмя» писателя Платона Головача.

Николай Мерабович заинтересовался древней культурой нашего народа, историей возникновения нашей письменности, жизнью и деятельностью первого белорусского книгопечатника Франтишка Скарины. В музее гости подолгу останавливались у стендов, рассказывающих о борьбе нашего народа с польскими панами и помещиками, интересовались деятельностью Кастуся Калиновского, возглавлявшего крестьянское восстание белорусского народа в 1863 году. Михаил Саввич предложил еще раз перед отъездом посетить музей, а сейчас все-таки отправиться в Борисов.

Дорога от Минска до Борисова то петляет между разноразных осенью перелесков, то вдруг прячется в тесном и глубоком проеме глухого леса.

— До чего же красивая у вас осень, сколько красок, как богата ее палитра, — повторяет Михаил Саввич, глядясь в изумрудные осенние одежды молодых рябинок и золотой покров придорожных берез.

Город Борисов встретил нас тепло и торжественно. На площади, у здания горсовета, стояли школьники с транспарантами, на которых были слова приветствия гостям — писателям Грузии. Причем их имена были написаны правильно, без единой ошибки. На Борисовском фанерно-спичечном комбинате нас ждали рабочие. Мы прошли по всему комплексу производства. Николай Мерабович и Михаил Саввич в сопровождении главного инженера и белорусских писателей посетили рабочую столовую, где за дружеским обедом гости передали братский привет инженерам и рабочим и поделились своими творческими планами.

О дружбе наших народов говорил Нико Лордкипанидзе. Он рассказал о том, какие чудесные гидростанции построили грузинские рабочие, как любят они свою прекрасную родину и не жалея сил отдают свой труд для ее процветания.

Осенний день короток. Мы спешим в Минск, где с нетерпением ждет гостей Янка Купала. Один день мы пробыли вместе, а как будто давно знакомы. В непринужденном дружеском разговоре не заметили, как подъехали к окраине Минска. Тихая, мало освещенная улица, где живет Янка Купала.

Он и его верная подруга Владислава Францевна встречали гостей у крыльца. Они показали свой скромный дом, пригласили в библиотеку и рабочий кабинет. В большой гостиной был накрыт стол. Владислава Францевна любила угощать друзей белорусскими блинами, которые сама превосходно готовила. Купала торжественно про-

возгласил тост за лучших представителей современной грузинской литературы — Михаила Джавахишвили и Нико Лордкипанидзе...

Двери гостеприимного дома Купалы всегда были открыты для друзей. В тот вечер встретиться с грузинскими писателями пришли виднейшие белорусские литераторы: Михась Зарецкий, Пятро Глебка, Алесь Дударь, Владимир Хадыко.... В непринужденной обстановке легко возникла интересный творческий разговор. Николай Мерабович попросил присутствующих спеть белорусскую песню. Александрович, Зарецкий и Глебка затянули «Купалицьку». Потом по просьбе Владиславы Францевны Пятро Глебка и я прочитали свои стихи. Расходились по домам поздно. Янка Купала подарил грузинским гостям памятные сувениры и новое издание поэмы «Над рекой Орессой».

Три дня пробыли в Минске Михаил Джавахишвили и Нико Лордкипанидзе. Дружеские встречи положили начало сближению наших литератур. На перроне Минского вокзала мы прощались и горячо обнимали друг друга, почувствовав, что у нашей дружбы будет плодотворное продолжение.

\* \* \*

В мае 1935 года по инициативе председателя Союза писателей СССР Максима Горького бригада белорусских писателей в составе руководителя Виталия Вольского, писателей и поэтов Михаила Хведоровича, Бориса Микулича, Эдуарда Самуйлённа и польского поэта Владимира Ковальского была командирована на два месяца в Грузию для обмена творческим опытом и установления творческих связей. В свою очередь, в Белоруссию направлялась бригада грузинских писателей в составе председателя Бенито Буачидзе, Константина Лордкипанидзе, Ило Мосашвили, Рамдана Гветадзе и Александра Кутатели. Обе бригады встретились в Москве.

Для меня и моих товарищей по бригаде поездка в Грузию была особенно желанной. При встрече в 1933 году Михаил Джавахишвили и Нико Лордкипанидзе зажгли нас огромным желанием увидеть Грузию, ее многообразную и чудесную природу, встретиться с ее людьми, познакомиться ближе с ее древней культурой. К сожалению, тогда не было сверхзвуковых самолетов и наша дорога от Минска до Тбилиси тянулась несколько дней.

В Тбилиси на вокзале нас встречали видные грузинские литераторы и деятели культуры — Михаил Джавахишвили, Нико Лордкипанидзе, Галактион Табидзе, Паоло Яшвили, Бесо Жгенти, Шалва Дадани, Тициан Табидзе, Сандро Эули и Микел Патаридзе. Мне припоминаются слова Бесо Жгенти, который





тогда сказал: «Начало дружеских встреч в дальнейшем явится большим интернациональным праздником наших культур».

Белорусские писатели были окружены большой любовью и всеобщим вниманием. Длительная командировка в Грузию действительно явилась ярким праздником в жизни наших братских литераторов.

Местожительством стал для нас Тбилиси, а родным домом — гостиница «Ориант». Тут происходили дружеские встречи с грузинскими писателями, которые дарили нам тепло своих сердец. Первый, кто показывал нам этот чудесный город, был всегда невозмутимо спокойный и оптимистичный во всех сложных ситуациях поэт Сандро Эули. В то время он был директором республиканской библиотеки, руководителем многих литературных кружков. Сандро Эули как настоящий друг и хозяин показывал древнейшие издания грузинской летописи. Он не только показывал, но и рассказывал о многовековой истории грузинской культуры. Мы впервые увидели издания великого грузинского поэта Шота Руставели на языках Востока и Запада.

Сандро Эули познакомил нас с талантливым русским поэтом Петренко, который в то время работал над переводом на русский язык гениальной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Это знакомство оказалось для меня очень полезным. Петренко помог мне получить экземпляр подстрочника поэмы «Витязь в тигровой шкуре», который и лег в основу моего перевода ее на белорусский язык.

Мы ходили по красивому проспекту имени Шота Руставели. Сандро Эули показывал все достопримечательности грузинской столицы. Над нами сияло безоблачное небо юга, приветливо шумели цветущие акации, веселые кинто угощали ранними сортами зрелых черешен.

В Доме писателей на улице Мачабели состоялась дружеская встреча с грузинскими писателями и деятелями культуры. Еще ближе мы познакомимся с Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили, Георгием Леонидзе. «Неукротимый Тициан», как шутя его называл Сандро Эули, всегда куда-то спешил. В шелковой рубаше с расстегнутым воротом, в легком костюме, он внезапно появлялся и о чем-то горячо спорил со своими знакомыми и товарищами. Перед переполненным залом Дома писателей он громко читал поэму «Грузия» в отрывках на грузинском языке и на русском в переводе Бориса Пастернака. Читал он горячо и легко, меняя интонацию, владея подъемами и спадами ритма, умело подчеркивая самое важное, составлявшее основу всего стиха. Паоло Яшвили читал свои переводы стихов Пушкина. Его

артистичностью восхищались все присутствующие и награждали бурными аплодисментами. Хотя мы и не знали грузинского языка, но легко улавливали интонацию пушкинского стиха, его музыкальность и поэтичность.

Затем выступал руководитель нашей делегации Виталий Вольский и в короткой речи рассказал о тех больших творческих задачах, которые поставили перед собой члены нашей бригады. При упоминании имени Янки Купалы и Якуба Коласа в зале вспыхивали аплодисменты. Польский поэт Владимир Ковальский читал свои стихи на польском языке. В память о нашей встрече он подарил библиотеке Дома писателей Грузии томик стихов поэта Адама Мицкевича на польском языке, изданный в Варшаве. Книгу принял Паоло Яшвили и обещал изучить польский язык, чтобы познакомиться грузинского читателя с творчеством Мицкевича.

Приятно вспомнить о встречах с секретарем Союза писателей Грузии, давнишним нашим другом Бесо Жгенти. Он запомнился как блестящий оратор и организатор всех наших поездок по Грузии.

Встречи в ЦК КП Грузии и Совнарком республики содействовали выполнению насыщенной программы, намеченной в Москве.

\* \* \*

Поездкой по Военно-Грузинской дороге и посещением горного района Казбеги поручено было руководить Тициану Табидзе. С нами ехали в Казбеги нарком просвещения Татарашвили, Шалва Дадияни, Михаил Джавахишвили, Георгий Леонидзе, Алио Мирцхулава, Микел Патаридзе, работники культуры и искусства. Мы остановились в старинной грузинской столице Мцхета, посетили древний собор Светицховели — уникум грузинского зодчества XI века. После короткой остановки в Ананури и Пасанаури машины быстро переехали через снежные завалы Кавказского хребта. Машины остановились на площади небольшого районного городка, и «непостоянный Тициан» пригласил всех посетить мемориальный музей классика грузинской литературы Александра Казбеги. Потом мы проехали по ближайшим горным аулам, в одном из которых нас встретили пастухи.

Тициан Табидзе весело беседовал с нами, мы видели улыбающиеся лица, а иногда слышался дружный смех. И сам Тициан был всегда в хорошем настроении. В разговоре о самых обыкновенных вещах чувствовалась его задушевность и приподнятость. Небольшого роста, плечистый, с черной челкой прямых волос, до половины прикрывавших его высокий лоб.

— Друзья! Дорогие друзья! — звал он нас. — Присядем к столу. После



такой трудной дороги не грешно будет подкрепиться. Наш гостеприимный отец, седовласый Казбек, приглашает отве-дать шашлык из молодого барашка. Уважим нашего старика. Он угощает своим искристым янтарным вином. На-полим бокалы!

Тамадой стола по праву был избран народный артист Грузинской ССР, дра-матург и романист Шалва Николаевич Даднани. Огромный рог в золотой опра-ве он сжимал в своей «державной ру-ке». Искusstный мастер слова, Даднани никогда не повторялся и не сбивался на шаблон. Приглаживая пушистые усы, преисполненный благородства, произно-сил он каждое свое слово. Его речь по сути была испытанием на остроумие, содержательность и теплоту чувств. Ор-кестр горных чабанов исполнил грузин-ские мелодии.

Незаметно проходит время за празд-ничным столом. Только поздней ночью мы возвращались в Тбилиси...

\* \* \*

В поездке по Кахетии нас сопровож-дали Шалва Даднани, Георгий Леони-дзе и Микел Патаридзе. С ними ехал и народный артист республики, режиссер театра имени Шота Руставели Сандро Ахметели. К нашему приезду в Телави открывался новый городской театр. Сандро Ахметели шефствовал над этим театром. Его постановкой Телавский те-атр открывал свой сезон. Ехали мы по-ездом до станции Телави. А в дороге люди особенно легко сблизаются. Шал-ва Николаевич Даднани был намного старше нас. Его большая жизнь, про-шедшая в творческом труде, принесла ему заслуженную славу. Мы были без-мерно рады, что имеем возможность ближе познакомиться с ним. Это был очень простой, обаятельный человек, располагающий к себе спокойствием, мягкой усмешкой. Наши писатели Бо-рис Микулич и Эдуард Самуйлёнок по-сыновнему привязались к нему, отозва-вшись на его скромность и сердечную доброту. По-настоящему именно Шалва Николаевич вдохновил Эдуарда Самуй-лёнка на написание романа о Колхиде, который вышел в свет в 1939 году под названием «Будущность».

— Да, да, — говорил Шалва Нико-лаевич, — разобщенность, которая все же существует между нами, сужает рам-ки нашего творчества. Почему бы не ор-ганизовать прочную систему переводов на языки наших народов? На грузинском языке превосходно звучат стихи Янки Купалы. Я правду говорю? — обращал-ся он к сидящему рядом М. Патаридзе.

Скромный и застенчивый Микел, как мы называли его тогда, — прекрасный поэт-переводчик. Он перевел на гру-зинский язык поэму Янки Купалы «Бон-даровна» и читал отдельные отрывки

на литературных вечерах и встречах. Ему как большому знатоку фольклора удалось преодолеть расхождение в обра-зах белорусской и грузинской «Бондаро-тики» и свести до минимума потерю в напевности купаловского стиха.

Георгий Леонидзе и Сандро Ахметели в светлых костюмах стояли у открытого окна вагона и вели оживленный разго-вор с Виталием Вольским о путях раз-вития советского театра. Они любовал-ись убегающими за горизонт цветущи-ми виноградниками и садами.

На открытии Телавского театра после приветственных речей перед пере-полненным залом выступил народный артист Грузинской ССР Сандро Ахметели. Он горячо поздравил собравшихся с большим культурным событием в жиз-ни города.

Затем мы присутствовали на премье-ре и аплодировали молодому талантливому коллективу.

Совсем недалеко от Телави, на проти-воположном берегу Алазани, находи-лось бывшее имение одного из выдаю-щихся грузинских поэтов — Александра Чавчавадзе. В бывшем его доме в тра-диционной столовой для нас, гостей, был приготовлен ужин. И мебель, и по-суда, и вся домашняя утварь напомина-ли о замечательном сыне грузинского народа и его славной поэзии, перешаг-нувшей через крутые перевалы суро-вых десятилетий. Даже как-то неудобно было располагаться на ночлег и ложить-ся в кровать, на которой когда-то спал великий грузинский поэт. Шалва Дадни объяснил нам, что все самые дорогие гости, которые посещают Телави, отда-ют дань уважения этому дому.

Мы побывали и в совхозе «Циндан-ли», в его подвалах, где хранились зна-менитые на весь мир вина почти веко-вой давности. Георгий Леонидзе вместе с дегустатором завода провел нас по огромным подвалам необъятных храни-лищ. В так называемой «библиотеке вин» представилась возможность каж-дому из нас приложиться к циндаль-скому бальзаму.

\* \* \*

Преодолевая трудные километры разбитой дороги в болотистой местности, мы спешим в районный центр — горо-док Сигнахи; отдохнув там, продолжили наше путешествие по Алазанской доли-не.

Машины ехали по отвоеванной у бо-лота плодородной земле. Нам рассказа-ли, что до проведения ирригационных работ Алазанская долина называлась «комариным царством». Малярия уно-сила сотни жизней, а приехавшие на по-стоянное жительство в Ширакскую степь покидали ее из-за отсутствия питьевой воды. Усилиями нашего наро-да в Ширакскую степь прокладывается





водопровод, а болотная долина Алазани превращается в виноградники и цитрусовые сады.

Недалеко от совхозного поселка, на зеленой лужайке, собрались труженники полей и рабочие нефтяных вышек, которых так много разбежалось во все стороны степного простора. Руководителем белорусской делегации Виталий Вольский рассказал, как живут и трудятся белорусские колхозники на своих полях и как новая складочная жизнь приходит в их дома. Владимир Ковальский посвятил свое выступление борьбе польского народа за освобождение от гнета пилсудчины — помещиков и капиталистов. Вдохновенно звучали стихи на белорусском, грузинском, русском и польском языках, посвященные дружбе народов Советского Союза.

Возвратившись в Сигнахи, мы выступали на интернациональном вечере, посвященном приезду писателей. Выступили также самостоятельные коллективы сигнахского Дома культуры и оркестр народных инструментов. Гости делились своими впечатлениями и читали стихи о Грузии.

\* \* \*

Маршрут дальнейшей поездки сложился из посещений Зестафони, Чиатура, Кутаиси, Поти, Батуми. Мы побывали на крупных предприятиях, строительстве РионГЭС и АджарГЭС, познакомились с комплексом больших работ в Кольхидской низменности, в устье реки Риони.

Известно, что Виссарион Давидович Жгенти является испытанным критиком и литературоведом грузинской литературы. Но Бесо Жгенти, как его обычно называют, также отличный организатор. При его участии все самые сложные вопросы решались, как говорится, на ходу. Он хорошо знал организаторские способности и своих друзей-писателей. Поэтому и предложил сопровождать в этой поездке делегацию белорусов Сандро Эули, Симону Чиковани и Микелу Патаридзе. Разнообразные, самые трудные вопросы транспорта и быта поручено было «доработать» Иосифу Гришашвили совместно с Бесо Жгенти.

Накануне этой поездки наша делегация была приглашена на обед к Михаилу Джавахишвили. Мы собрались в его небольшом садике. Хозяин дома познакомил со своей семьей, показал предмет своей особой гордости — библиотеку, поразившую нас богатством уникальной литературы по истории Грузии, ее культуры и искусства. В ней сохранились отдельные экземпляры книг XVII и XVIII столетий, в которых отражалась многовековая борьба грузинского народа, богатая славными героическими событиями. Эдуард Самуилёнок с большим интересом перелистывал пожелтевшие страни-

цы, рассказывающие о далеком прошлом Грузии, для него как автора произведения, связанного с грузинской историей, все это представляло особый интерес.

А Михаил Саввич водил нас по саду и показывал цветы, посаженные и выращенные им самим. Под шатром теневой чинары накрывался стол.

Михаил Саввич как хозяин дома в белом фартуке хлопотал у стола, Шалва Дадiani, по традиции, возглавляет стол. Веселые и непринужденность сопутствовали дружеской беседе.

Незабываемое утро 15 мая 1935 года мы встречали в Зестафони. Прямо с поезда дружной семьей грузинские и белорусские писатели направились на ферромарганцевый завод, где прошли по его горячим цехам. А в заводском клубе собирались сменщики. Мы познакомились с ними, беседовали, говорили о том, что культурный взаимообмен между белорусскими и грузинскими писателями только начался, но он предполагает более широкие планы. По приглашению республиканских культурных организаций в скором времени в Тбилиси начнет свои гастроли белорусский театр, а грузинский театр имени Шота Руставели приедет на гастроли в белорусскую столицу Минск. Тепло принимали металлурги выступления поэтов и писателей; они преподнесли им памятные подарки и цветы.

В высокогорных шахтах Чиатура пришлось переодеться в рабочую одежду. Переодевание было долгим из-за того, что одежда не всем подходила по размерам. С трудом напяливались неподатливые резиновые сапоги, брезентовый верх. Сандро Эули хотя и был старше всех нас, но во всем успевал быть первым. Заметив издали, что Самуилёнок медлит с переодеванием, он громко подшучивал:

— Самуилёнок! Самуилёнок! Вы, ей-богу, как ребенок. Отвлекаетесь и не переодеваетесь!

Самуилёнок под общий хохот поправлял очки и отвечал:

— Спасибо, Сандро! Это я заслушался вашими остротами...

Словесная «перестрелка» часто возникала в нашей поездке. Сандро Эули любил шутить. Шутником, как мы убедились, он был добродушным. Вдур шутя он становился в позу руководителя и важно восклицал:

— Ковальский! Ковальский! А почему вы Запоздальский?..

Все смеялись, смеялся своим остроумом и сам Сандро Эули.

Проходя по штрекам, он часто оставался, чтобы переброситься веселой шуткой с шахтерами. Даже не зная грузинского языка, мы по общему тону разговора понимали, что неутомимый



Сандро не перестает шутить и что шутки его понимают и любят шахтеры.

После осмотра шахты мы возвращались в город по узкой тропинке. Чиатура раскинулся как на ладони. Над глубоким ущельем меж двух горных хребтов по канатной дороге быстро передвигались вагонетки, наполненные рудой. Внизу грузились железнодорожные эшелоны и пыхтели паровозы. Великие шахтерские домики, резко обозначенные правильными квадратами кварталов, рассыпались по обе стороны черной реки Квирилы.

Прошло с того времени без малого полвека. Я уверен, что город Чиатура сегодня обрел совершенно иные очертания. Но первые впечатления врезаются в память навсегда.

Сандро Эули шел впереди нас. Годы не властны были над ним. Там, где круто поворачивала горная тропа, Сандро старался предупредить зевак, и мы опять слышали его громкий голос:

— Микола и Борис! Друг за дружку держись! Осторожно иди, смотри не упади!..

Все улыбались, посматривая на запыхавшего Сандро, а он невозмутимо продолжал отшучиваться. В гостинице, где мы остановились, нам встретилась группа молодых грузинских писателей из Кутаиси. Присоединившись к нашей делегации, они сопровождали нас на строительство РионГЭС. По дороге Симон Чиковани продиктовал мне подстрочник своего стихотворения, и я успел перевести первые строфы, чтобы почитать их рабочим:

Берег Риона. Виснет на сваях  
Старая хата, и дремлет она.  
Два крестьянина выходят. Какая  
Дышит над тесным двором тишина.

В Кутаисском педагогическом институте был организован литературный вечер, на котором звучали стихи на белорусском и грузинском языках. Симон Чиковани часто бывал в Кутаиси, любил этот город, которому посвящал свои лучшие стихи. Тепло и сердечно встречали его студенты — почитатели его поэзии. Запомнился он мне скромным и сердечным человеком, ярким врагом длинных голословных разговоров о литературе. Казалось, что он мыслит только стихами, которые читал тихо, выразительно, без всякого желания блеснуть артистичностью.

Мы посетили Кутаисский консервный завод, Кутаисский музей, где собраны богатейшие документы по истории революционного движения в Закавказье, и другие памятные места.

После осмотра музея руководство нашей поездкой взял в свои руки, по словам Сандро Эули, самый кроткий и не-

возмутимый Микел Патаридзе, полюбивший всем участникам нашего путешествия. Он предложил посетить селение Багдади, родину Владимира Владимировича Маяковского, побывать в доме, в котором прошли детство и юность поэта. Кроме этого, он пригласил всех нас на свадьбу своего племянника, который живет недалеко от Багдади. Сандро Эули возражал против этой поездки и особенно против участия в свадебном торжестве, не хотел нарушать графика. Но что один против всего коллектива? Всем белорусам хотелось увидеть грузинскую свадьбу, побывать в деревне.

Через реку Риони, хотя и не глубокую, но очень стремительную в своем течении, переправиться было нелегко. На наше счастье, на берегу реки провоздились какие-то работы и стояли арбы, запряженные буйволами. Микел Патаридзе без особых трудностей договорился с возчиками. Они на арбах перевезли нас на противоположный берег Риони, неподалеку от селения Багдади. Нежданных гостей встретила толпа мальчиков и девочек. Они провели нас по улице селения к небольшому домику, окруженному молодым садом. В то время музея Маяковского еще не было, только проводилась работа по накоплению материалов. Но в доме, где жил поэт, мы почувствовали его незримое присутствие. Каждая вещь напоминала о нем. Старожилы Багдади рассказывали о юных годах поэта, о том, какое уважение ниспослали его родители у своих земляков, простых багдадских тружеников.

Пока мы осматривали домик поэта, вспоминали о нем и читали стихи, при были три коляски. В них были родственники Микела Патаридзе, приглашенные на свадьбу. Когда мы остановились у свадебного двора, навстречу вышли жених и невеста, и как самых дорогих гостей они пригласили нас в дом за свадебный стол. Сандро Эули сердечно поздравил жениха и невесту. Виталий Вольский, выступая от нашей делегации, пожелал молодым счастья и любви в жизни. Стихотворение, посвященное молодым, прочитал Владимир Ковальский.

По грузинскому обычаю оправленный серебром рог с вином пошел по кругу. Играла музыка, лихо отплясывали Микел и Сандро. Отведав свадебного пирога, прощаясь, мы поблагодарили хозяев за приглашение, пожелали молодым долголетия и любви. Нас провожали с песней и музыкой.

\* \* \*

Цветущий городок Потн погрузился в утренний туман. Моросил мелкий теплый дождик.

— У нас всего можно ожидать, — говорит археолог Гулия, который первым





встретил нас на перроне Потийского вокзала. — Вот идет мелкий дождик, а через час будет безоблачное небо. Не забывайте, что у нас субтропики. Вы, конечно, читали «Колхиду» Паустовского? Вот она, можете познакомиться, — и он показал рукой в сторону устья Риони.

Перебазировавшись на главный участок Колхидстроя, мы находимся на палубе огромного земснаряда, прокладываемого главный магистральный канал. Главный инженер строительства Гегечкори показывает большие участки осушенной земли, превращенные в виноградники и плантации апельсиновых и лимонных садов.

Продолжая осматривать густую сеть каналов, мы встречаем рыбаков, возвращающихся с рыбной охоты за сазаном. Маленький катерок спешит по главному каналу в ту сторону, где на горизонте в солнечной дымке сияют неясные очертания леса. В тесном кругу мы слушали романтический рассказ Гегечкори:

— Колхидская низменность изобилует малыми реками. За столетия она превратила цветущие поселения и виноградники в непролазные болота. Теперь она снова возвращает себя к жизни. Потийский музей хранит в небольших своих залах экспонаты, подтверждающие правду давно ушедших веков.

Гегечкори — мингрелец средних лет, одетый в легкую спортивную одежду. Маленькие, аккуратно подстриженные усы придают его лицу черты какой-то залихватской сноровки. Глядя на него, верится: все сказанное им — это не слова, а правда будущей жизни, ради которой мы все вместе бороздим мутные воды этого канала.

Небольшая железнодорожная станция Чаладиди полна народу. Тут экскурсанты и целые группы студентов, приехавших на практику. Отсюда верхом на лошадях мы спешим на встречу с чаладидскими пастухами.

\* \* \*

В эту же ночь нам предстояло пародом добраться до Батуми. Мы любовались необыкновенными по красоте батумскими парками и набережной. Потом побывали в гостях у пограничников и, получив разрешение на въезд в пограничную зону, продолжали свой путь вдоль ущелья, у турецкой границы. Остановившись в высокогорных селах, мы беседовали с тружениками полей.

Перед строителями АджарГЭС выступили Симон Чиковани и Борис Микуллич. Я читал свои стихи, посвященные

Грузии. Виталий Вольский и Эдуард Самуйлёнок поделились своими творческими планами.

Вернувшись в Батуми, мы проводили нашего друга Сандро Эули, срочно отъезжавшего в Тбилиси, и за прощальным обедом выражали ему свою благодарность кто как умел. Борис Микуллич прочитал наше коллективное восьмистишие:

И на суше, и на море  
 Мы с тобой не знали горя.  
 Заслужил наш друг Сандро  
 Благодарности ведро.  
 Чтобы дружба процветала,  
 Мы полной нальем бокалы  
 Кахетинского вина.  
 Дружно выпьем все, до дна!

Мы успели привязаться и привыкнуть к Сандро Эули и расставаться с ним было трудно. Я и сейчас вижу его стоящим у вагона отходящего поезда и приветливо улыбающимся, хотя в узком прищуре его усталых глаз мне вдруг почудилась затаенная грусть.

\* \* \*

Последней остановкой в нашем путешествии по Грузии был чайный совхоз в Чаква. У каждого из нас были свои творческие планы. Борис Микуллич уезжал в район Казбеги, Эдуард Самуйлёнок спешил в Поту. Там его ожидали Гегечкори и Гулия. Работа над романом «Будущность» началась уже в 1935 году. Нужно было глубже понять материал, заручиться надежной консультацией, историческими справками. Владимир Ковальский начал работу над поэмой «Алазань». Он направлялся в Кахетию. Я и Виталий Вольский остановились в Кобулету, недалеко от совхоза Чаква. Я работал над циклом стихов об Аджарии, а Вольский готовил большую работу для белорусской периодики о «Белорусско-грузинских литературных связях».

Уезжали в Тбилиси наши друзья Симон Чиковани и Микел Патаридзе. На прощальном обеде говорились незабываемые слова о нашей совместной поездке, о том, что время никогда не останавливается в своем движении. Будут новые встречи, но, расставаясь сегодня, мы смело можем сказать, что они будут продолжением начатого нами благородного дела — братской дружбы между нашими литераторами.

Будь же дружба  
 Век такою —  
 Кровной,  
 близкой,  
 дорогою.



# К КРИТИКЕ ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ ПРИРОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Почти все основные течения буржуазной эстетической мысли двадцатого века в той или иной мере и форме характеризуются иррационализмом, причем конкретный анализ показывает, что этому способствует не только идеологическая позиция авторов, но и ошибочность исходных методологических принципов. Мы должны хотя бы весьма кратко проиллюстрировать наш тезис о господстве иррационализма в современной буржуазной эстетической мысли, так как некоторые из ее основных течений не несут на себе явной печати мистицизма и иррационализма.

Начнем с эстетики прагматизма, ярко выраженный эмпирический характер которого как будто исключает всякие элементы иррационализма. Один из трех «патриархов» прагматизма Дьюи назвал свою наиболее капитальную работу по эстетике «Искусство как опыт». В данной связи нас интересует не общая ошибочность сведения искусства к опыту, а иррационалистический элемент в самом содержании понятия «опыт». Как известно, согласно прагматизму непосредственное содержание опыта является единственной — не только доступной нашему познанию, но и вообще известной нам — реальностью, и в нем самом познается нами лишь «практический эффект» чисто биологической «интеракции» между нашим организмом и средой. Само сознание как гносеологический субъект элиминировано, наше познающее «я» является лишь бихевиористским продуктом указанной «интеракции», оно — лишь эпифеноменальный «свидетель» того, что происходит в процессе этой «интеракции». Чтобы избежать солипсизма, Дьюи подобно всем субъективистам вынужден допустить в порядке логической контрабанды какое-то объективное начало вне чисто субъективного содержания опыта, но оно окутано мраком неизвестности. Сам Дьюи называет его «мистическим элементом» опыта и апеллирует именно к нему для «объяснения» различия между «обыкновенным опытом и специфическим опытом, обладающим «эстетическим свойством»<sup>1</sup>. Разумеется, Дьюи необходим этот «мистический элемент» опыта не только и не столько для «обоснования» эстетики, сколько для оправдания религии. «Моей целью было, — говорит Дьюи, — показать, что внутри опыта есть все необходимое для того, чтобы обосновать религиозную веру»<sup>2</sup>. Гносеологический биологизм Дьюи, сводящий даже логические категории к «селективной» классификации индивидуально полезных элементов опыта, органически связан с его общемировоззренческим иррационализмом, с полным «отчуждением» рационального начала во взаимодействии человека с внешним миром, в результате чего и сам мир отчуждается от человека. Не без основания утверждает один из итальянских комментаторов Дьюи, Доменико Песче, что этот последний «гуманистическое воззрение на гармонический мир заменил примитивной концепцией враждебного мира (universo ostile), в котором человек движется среди постоянных опасностей и террора»<sup>3</sup>. По признанию самих буржуазных интерпретаторов, Дьюи не удалось на основе своего общего тезиса, сводящего искусство к опыту, установить ни отличие эстетического опы-

<sup>1</sup> Дж. Дьюи. Искусство как опыт, на англ. языке, Лондон, 1934.

<sup>2</sup> Дж. Дьюи. Общая вера, на англ. яз., Нью-Йорк, 1936, стр. 53, 192.

<sup>3</sup> Доменико Песче. Концепция искусства у Дьюи и Беренсона, на итальян. яз., стр. 14.



та от других его форм, ни специфику художественного творчества<sup>4</sup>. Поэтому и был он вынужден апеллировать к «мистическому элементу» самого опыта, якобы лежащему в основе как религиозного, так и эстетического чувства. Эстетика прагматизма, начиная с основоположника прагматизма Пирса и кончая его последним «классиком» Дьюи, тесно связывала эстетический опыт с религиозным опытом<sup>5</sup>.

Принято считать, что «трансцендентальная» феноменология Гуссерля явилась реакцией на позитивизм и психологизм. На самом же деле сам Гуссерль в принципе обеими ногами стоял на их же почве, несмотря на кажущееся размежевание с ними. От психологизма Гуссерль воспринял признание исходным пунктом чувственно-психического содержания сознания, в глубине которого предлагал искать чисто идеальное и неизменное, «эйдетическое» ядро, признаваемое им единственной истинной реальностью. От позитивизма же Гуссерль воспринял чисто описательный подход к данным чувственного опыта. Но вместе с тем, он унаследовал от Канта его «трансцендентализм» — нечто «среднее» между имманентностью и трансцендентностью. Но трансцендентализм, взятый к тому же вне общего контекста кантовского мировоззрения, оказался слишком тонкой нитью для того, чтобы удержаться на почве классических философских традиций, и философия Гуссерля разделила участь всех модернистских философских течений двадцатого столетия — она оказалась одной из разновидностей иррационализма, а именно иррационализмом неоплатонистского толка. По Гуссерлю, чтобы достичь созерцания чистой идеальной сущности, признаваемой им единственной истинной реальностью в глубине непосредственных данных сознания, необходимо забыть не только о существовании чувственно воспринимаемых феноменов, но и о своем собственном существовании, то есть очистить сознание от всего чувственного, «мирского», даже от чувства самосознания<sup>6</sup>.

Само собой разумеется, что основанная на такой общефилософской концепции эстетика не могла не быть сугубо иррационалистской. Правда, сам Гуссерль почти не касался собственно эстетических проблем, зато идеалистическое понимание сущности художественного творчества по существу лежит в основе самой его общефилософской концепции. Сам Гуссерль подчеркивал, что «можно извлечь чрезвычайную пользу из поэтического дара, связанного с исключительной силой воображения... Тот элемент, который дает жизнь фенологии, есть «фикция». Эта фикция является источником, из которого черпает свою пищу познание вечных истин»<sup>7</sup>. Гуссерль в более прямой форме выразил фиктивный характер эстетического: «Мы видим в саду цветущую яблоню и наслаждаемся чувством удовольствия. Если мы узнаем, что это — галлюцинация, то с натуралистической (читай «материалистической»). — П. Ш.) точки зрения рушится перцепция и исчезает чувство удовольствия. Но с точки зрения феноменологии и в случае галлюцинации все остается по-прежнему, не меняется отношение между нами и яблоней и остается чувство удовольствия»<sup>8</sup>. Понимая воображение как объективную образность субъективного, Гуссерль полагал, что оно «перемещает» вещи и явления в сферу «сущностной истины», представляя «чистые сущности» в зримой форме. И этим зрителем является художник в нашем сознании, «чистое «Я»<sup>9</sup>. Стало быть, художественное творчество есть не что иное, как стремление представить в зримой форме «эйдетические сущности». Именно этот принцип пытался дальше развить наиболее крупный представитель (может быть, вернее было бы сказать фактический создатель) феноменологической эстетики и теории искусства Фриц Кауфманн, выдвинувший формулу, что художественное творчество есть все большее и большее просветление «темной основы» нашего сознания, представляющей собою нечто конгенитальное идеальным «сущностным силам» вне нашего сознания<sup>10</sup>.

Иррационалистический характер фрейдизма настолько общеизвестен, что не стоило бы вообще останавливаться на этом, если бы фрейдистская концепция искусства и в наши дни не пользовалась признанием не только за рубежом,

<sup>4</sup> С. Зинк. Понятие непрерывности в теории эстетики Дьюи (в журн. «Философия», т. 51, № 4, 1943 г.), П. Кроссер. Нигилизм Дж. Дьюи, на англ. яз., Нью-Йорк, 1955, стр. 99.

<sup>5</sup> Ч. Пирс. Ценности в мире случая, на англ. яз. Нью-Йорк, 1955 г., стр. XXVIII, 41, 531.

<sup>6</sup> Э. Гуссерль. Идеи, I, на англ. языке, стр. 153.

<sup>7</sup> Там же, стр. 201—202.

<sup>8</sup> Там же, стр. 258—259.

<sup>9</sup> Э. Гуссерль. Идея феноменологии, на англ. яз., 1964, стр. 13 и сл.

<sup>10</sup> Фриц Кауфманн. Царство прекрасного, на нем. яз., Страсбург. Его же. Искусство и феноменология, на англ. яз., 1960, стр. 195 — 197 (в сборн. «Очерки феноменологии», на англ. яз., изд. Натансоном).





но даже и в советских литературоведческих кругах. Согласно фрейдизму, во всей жизнедеятельности человека интеллектуальное начало играет ничтожную, а то чисто служебную, роль в отношении бессознательного, выражающуюся лишь в поисках путей и средств удовлетворения слепых инстинктов, источником которых является «либидо» — сексуальная энергия, признаваемая Фрейдом источником всего внутреннего мира человека. Из этого последнего полностью исключена социальность, признаваемая Фрейдом лишь продуктом внешних коммуникаций между индивидами и поэтому совершенно чуждым биологической сущности внутреннего мира человека. Именно эта социальная «надстройка», именуемая Фрейдом «сверх-Я», признается им источником всех психопатологических явлений, в первую очередь, неврозов, возникающих вследствие угнетения жизненных сексуальных инстинктов, «загоняемых» в глубь бессознательного вследствие запрета, налагаемого на них социальными «условностями», требованиями «благопристойности». Фрейд не только распространил свою «либидональную» концепцию на всю сферу художественного творчества, но именно в этой сфере проявил он наиболее страстное увлечение, — возможно, потому, что, попытки применения фрейдистской концепции в других социально-исторических и культурных сферах потерпели скоро явный крах; в качестве примера можно назвать исследования польского социолога Малиновского. Согласно Фрейдю, в основе художественного творчества лежат те же подавленные социальными условиями и загнанные в глубь бессознательного сексуальные инстинкты, которые ведут к неврозам. Разница между патологическими невротиками и художниками лишь в том, что у первых указанные инстинкты прорываются вовне в виде различных форм нарушений нормальных психических функций, тогда как художники обладают способностью придать им «нейтральную» эстетическую форму. Само эстетическое трактуется Фрейдом как некоторое психическое предварение реального сексуального наслаждения и даже «любовь к прекрасному есть совершеннейший пример чувства, связанного с запретной целью»<sup>11</sup>. Вряд ли можно представить себе более иррационалистическое и к тому же вульгарное толкование природы художественного творчества.

Как известно, экзистенциалистская феноменология выросла из «трансцендентальной» феноменологии Гуссерля путем отрицания самого принципа трансцендентализма и отказа от поисков какой-то «эйдетической» сущности как в глубине чувственных данных сознания, так и за их пределами. Именно чувственное содержание сознания в том виде, в каком оно переживается человеком, именно в виде дискретных актов переживания человеком собственного бытия, признано Хейдеггером единственной формой существования реальности и взят им в качестве исходной предпосылки всего своего философствования. Вместе с тем, ценой логической непоследовательности Хейдеггер признает существование абсолютно чуждого человеку внешнего мира, в который он заброшен «бездомным» и одиноким; притом сам этот мир оставляется вне всякой философской рефлексии, да и сама философская рефлексия, как таковая, фактически отвергается вследствие отказа от различения сущности и явления, а тем самым и от абстрактно-логического мышления. В этом свете кардинально преобразуется и традиционное понимание истины как соответствия между вещами и их абстрактно-логическим отражением в человеческом сознании. Хейдеггер подчеркнуто критикует известное положение: истина есть соответствие вещи и интеллекта, не потому только, что оно может быть истолковано материалистически, путем признания «*gei*» независимым от всякого сознания, но и потому, что оно подразумевает признание абстрактно-логической формы познания с различением «экзистенциальной» (чувственно-феноменальной) и сущностной форм бытия в качестве своей основы. По Хейдеггеру, сам экзистенциальный акт восприятия-переживания и есть истина, вернее, в нем «сокрыта» истина, которая открывается только поэтическим восприятием путем «внутреннего озарения». Следовательно, поэзия и есть единственная форма познания истины, «открытие сокрытого». Это непосредственное постижение истины поэзией, разумеется, не имеет никаких правил и законов, истина скорее переживается, чем понимается, она вообще некоммуникабельна и ее нельзя выразить словами из обычного, коммуникативного языка. Стало быть, поэтическое творчество не имеет никакой закономерности, сама эстетика, как и всякая другая наука, основывающаяся на понятиях и категориях, отвергается, — Хейдеггер прямо называет ее «последним окаменелым отростком западного мышления»<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> З. Фрейд. Психоаналитические штудии в произведениях поэзии и искусства, на нем. яз., Цюрих, 1925, стр. 12, 13—14. Его же. Значение снов, на нем. яз., Вена, 1900, стр. 87 и сл., Искусство и психоанализ, на англ. яз., Нью-Йорк, 1957, стр. 476.

<sup>12</sup> М. Хейдеггер. Холцwege, стр. 9, 20—25; У. Баррет. Что такое экзистенциализм, на англ. яз., стр. 118—123; Садзик. Эстетика Мартина Хейдегера, на фр. яз., стр. 39, 49.



136340  
88-171033

Сартровский экзистенциализм в своей основе примыкает к хейдегеровскому, но он «сдабривает» его некоторыми новыми элементами, — видимо, под влиянием гегелевской «Феноменологии духа». Он и на почве экзистенциализма хочет удержать кое-что и от декартовского «когито», внося некоторый момент различия между чувственным актом восприятия-переживания и рациональным актом (лексией), но это ему не удается в конечном счете, так как, согласно его концепции, сознание (называемое им «бытие для себя») абсолютно лишено момента идентичности с самим собой, оно по существу лишено собственного бытия, находясь в постоянной и непрерывной «трансценденции» в поисках этого бытия. Стало быть, это сознание, в конечном счете представляющее собой синоним «ничто», не может выступать в качестве гносеологического субъекта познания. Но и «бытие в себе», представляющее собой синоним вещей и явлений, лишено подлинного самостоятельного бытия, являясь лишь выражением «трансценденции» сознания «бытия в себе», то есть, чем-то вроде гегелевского «инобытия духа». В итоге получается по существу абсолютный феноменализм, рушится бытийная основа чувственно воспринимаемых феноменов.

Само собой понятно, что на основе такой общеполитической концепции и художественное творчество лишается объективной основы, — оно тоже выступает в качестве одной из форм «трансценденции» сознания, то есть перехода из фактического «ничто» в воображаемое «нечто». Мотивом этой особой формы «трансценденции» является наша неудовлетворенность чуждым и враждебным нам миром. Понятие «прекрасного» само по себе является фиктивным, его мы сами примысливаем миру посредством воображения, причем, примысливаем таким образом, что оно кажется свойством самого «бытия в себе»<sup>13</sup>. Вследствие этого продукты художественного творчества сами по себе не имеют никакого рационального содержания, в них не выражены никакие идеи, они так же «немые», как и обычные вещи, да, собственно, они и признаются экзистенциалистами (и Сартром в том числе) вещами, почему и называют их некоторые комментаторы «шозеистами». Только в отличие от вещей, воспринимаемых нами независимо от нашей воли, они являются лишь продуктами нашего собственного воображения, чувственным изображением фикции и не отражают собой ничего ни из чувственно-материальной, ни из идейной сферы. Идеи вкладываются в художественные произведения аудиторией — читателями, зрителями, слушателями соответственно своему личному умунастроению и стремлению<sup>14</sup>. Как видим, у Сартра иррационализм художественного творчества проявляется в несколько иной форме, а именно не столько в форме признания иррациональности самого процесса художественного творчества, сколько в форме иррациональности самих продуктов этого творчества.

Именно эстетическая (первая) часть абсолютно-идеалистической системы «Философии духа» Бенедетто Кроче является наиболее иррационалистической. «Чистая интуиция», к которой сводит Кроче все искусство, особенно поэзию, для него самого оказалась в конечном счете неопределимой, хотя он и упрекал Бергсона именно за принципиальную неопределимость понятия интуиции, которую этот последний положил в основу своей мистической философской концепции. Кроче весьма метко заметил, что интуиция осталась у Бергсона только его собственной «личной» интуицией, не имеющей постижимого для других общего содержания. По существу такой же «личной» интуицией осталась она и у самого Кроче, поскольку и он не сумел дать ее общезначимого определения. В течение более чем половины века Кроче по крайней мере три раза видоизменял свою эстетическую концепцию, но ее основное иррационалистское ядро оставалось неизменным. Подобно Бергсону и Кроче ограничивает понятие искусства лишь субъективно-психологическим процессом творчества, исключая из этого понятия произведения искусства. В эстетической концепции Кроче иррационален не только источник поэтического творчества, но и его продукт — поэтическое произведение. Язык поэзии по существу лишен не только логического, но и семантического значения. Правда, у него нередко встречаются и противоположные высказывания, что поэзия имеет своеобразную логику и ее язык коммуникативен, — иначе, мол, поэзия лишилась бы общественного значения<sup>15</sup>, но эти высказывания оста-

<sup>13</sup> Ж. П. Сартр. Бытие и ничто, на фр. яз., Париж, 1957, стр. 244—245.

<sup>14</sup> Ж. П. Сартр. Что такое литература, на фр. яз., стр. 11—26, 32—37, 42 — 44, 75—77.

<sup>15</sup> Г. Бергсон. Творческая эволюция, на фр. яз., 1907, стр. VII. Его же. Мысль и движущее, на фр. яз., стр. 16, 20; Бергсоновские штудии, т. IV, стр. 65.

Бергсоновская «философия интуитивизма» явилась настоящим «евангелием» иррационализма и мистицизма. Это в еще большей мере относится к бергсоновскому пониманию искусства. Бергсон отрицает возможность выражения «истинной реальности», (за которую он принимает так называемое «дюрее» — мистифицированное время в так





лись у него спорадическими и даже в одном из своих наиболее поздних трудов («Поэзия») он по-прежнему изгоняет из поэзии мысль вместе с повествовательным элементом<sup>16</sup>.

«Рационализм» неотомистов обманчив — неотомисты еще в большей степени сделали крен в сторону мистицизма, чем их духовный предок Фома Аквинский. Особенно это относится к эстетической концепции неотомизма. Еще в 1920 году виднейший представитель современного неотомизма Жак Маритэн в своей книге «Искусство и схоластицизм» выдвинул теорию, согласно которой искусство основывается на каком-то «скрытом свойстве» интеллекта, которое он называет средневековым латинским термином, и объявил прекрасное «сиянием» рассеянной и призматизированной рефлексии лика божия на чувственно-материальных вещах и явлениях<sup>17</sup>. В своей же поздней работе «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» он по существу примкнул в вопросе об источнике художественного творчества к фрейдистской концепции, объявив этим источником мрачную «глубину подсознательного или, как его еще называет, «предсознательного»<sup>18</sup>. Правда, на словах Маритэн отмежевывается от фрейдизма указанием на то, что у него «подсознательное» носит не биологический, а «спиритуальный» характер, подразумевая его божественное происхождение, но это придает ему еще более мистический характер.

Мы весьма кратко охарактеризовали эстетическую концепцию наиболее основных буржуазных философских течений двадцатого века, сравнительно более подробно остановившись на тех из них, которые на первый взгляд чужды иррационализму. Разумеется, не только эта черта (иррационализм) свойственна современной буржуазной эстетической мысли, но мы выбрали ее как наиболее характерную и наиболее актуальную черту, в какой-то степени находящую отражение и во взглядах некоторых советских авторов. Основоположники и классики марксизма оставили нам основополагающие идеи и принципы в области эстетики и теории искусства и литературы, но они не имели времени для их всесторонней конкретизации. Поэтому в советской эстетике и литературоведении, твердо стоящих на марксистско-ленинской позиции, наблюдаются отдельные отклонения как в сторону некоторого упрощения, так и в сторону иррационалистского толкования природы художественного творчества. К этому последнему виду отклонения от марксистско-ленинской позиции в первую очередь толкает их, по нашему мнению, сама сложность и недостаточная разработанность проблемы иррационализма как в общеметодологическом аспекте, так и, особенно, в аспекте процесса художественного творчества. Поэтому мы пытаемся здесь хотя бы кратко осветить проблему соотношения рационального и иррационального моментов в научно-философском мышлении, главным образом, в общенноеологическом и общеметодологическом аспекте, что в известной мере может облегчить освещение этой проблемы и в эстетическом аспекте.

С самого начала следует указать, что не только художественное творчество, но и никакую иную форму духовной деятельности нельзя «без остатка» свести только к рациональному началу. Даже логическая форма мышления с ее наиболее ясной и «демонстративной» частью — процессом суждения и умозаключения — в конечном счете «упирается» в нелогическое начало.

Абсолютно беспредпосылочного логически-дискурсивного способа познания не существует, и начальным «кирпичом» всякого познавательного процесса является элементарная чувственная интуиция в виде непосредственного усмотрения. Она лежит в основе и всякой абстракции — сама возможность обобщения основана на непосредственном усмотрении подобия многих вещей и явлений. А самый высший продукт обобщения — понятие — предполагает даже интуитивный «скачок», — никакой логической или математической процедурой нельзя перейти от подобия многих вещей и явлений ко всему их —

же мистифицированном субъективно-психологическом восприятии) не только в понятиях, но и в словах — эти последние пригодны лишь для практического применения. Только художественная интуиция приближается к контакту с «истинной реальностью», настоящего же контакта с нею достигает лишь религиозная мистика, да и то не всякая. Лишь великие христианские мистики, — говорит Бергсон, — были способны постигнуть именно реальное. Это попросту означает, что «истинная реальность» у Бергсона является синонимом бога. Произведения искусства по Бергсону — лишь его технические продукты, они не имеют никакой эстетической ценности. Само искусство не только начинается, но и завершается мистически-интуитивным замыслом.

<sup>16</sup> Б. Кроче, Проблемы эстетики, стр. 55.

<sup>17</sup> Жак Маритэн. Искусство и схоластика, 1965, на фр. яз., стр. 17 — 20; 53, 57.

<sup>18</sup> Его же. Творческая интуиция в искусстве и поэзии, на англ. языке, Нью-Йорк, 1953, стр. 18—47, 388.





как правило практически неисчислимому — наличию в мире. Даже Кант со своей метафизической гносеологической позицией — по крайней мере гипотетически — полагал существование «единого корня» чувственной интуиции и рассудочных категорий. Но дискурсивность не является единственным и даже первым признаком рациональности мышления — ей предшествует осознаваемость воспринимаемого, лежащая в основе понимания. В этом смысле «рациональным» можно назвать все то, что доступно пониманию, а «иррациональным» — то, что недоступно ему. Интуитивное «усмотрение» не есть простое физическое видение, оно есть и осознание видимого, — иначе оно было бы не интуитивным усмотрением, а слепым ощущением. Разумеется, само осознание не есть логический феномен, оно выступает в качестве связующего (переходного) момента между непосредственной чувственной интуицией и логическим мышлением. Проведение знака равенства между непосредственной чувственной интуицией и осознаваемостью само по себе исключает наличие бессознательного во внутреннем мире человека. Но это неправомочно: если бы все то, что отражается в человеке в результате его взаимодействия с окружающей природой, становилось фактом сознания, он быстро сошел бы с ума. Но если бы, с другой стороны, только осознаваемые элементы отражения определяли всю жизнедеятельность человека во всей совокупности ее духовных и чувственно-материальных сторон, жизнь человека была бы прозрачной, как идеальная родниковая вода, и все его практические действия уподобились бы действию идеальной машины, хотя сомнительно, мог ли бы вообще жить человек в подобном случае, ибо исчезли бы все автоматические защитные реакции — как биологические, так и психические — на неблагоприятные воздействия окружающей среды. Стало быть, недоступные пониманию, то есть «иррациональные» элементы составляют неотъемлемую часть внутреннего мира человека. Но иррационализм как общегносеологический принцип означает нечто большее: либо полное исключение элемента интеллектуальности в определенной сфере духовной деятельности человека и погружение всей этой сферы в мрачное лоно бессознательного, либо же вообще вынесение источника подобной деятельности за пределы всего внутреннего мира человека с обычным отношением этого источника к каким-либо сверхъестественным силам, чаще всего к богу.

Прежде чем перейти к попытке освещения проблемы соотношения рационального и иррационального в художественном творчестве в аспекте освещения общей внутренней природы мышления, следует попытаться осветить с марксистско-ленинской позиции проблему бессознательного<sup>19</sup>. Поскольку мы не имеем прямых высказываний ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина по этому вопросу в теоретическом плане, среди марксистов встречается его различное толкование. Одни вообще отрицают существование бессознательного, другие отвергают его более или менее существенное значение в жизнедеятельности человека, третьи, наоборот, слишком преувеличивают его роль, особенно в сфере художественного творчества. По нашему мнению, все перечисленные точки зрения ошибочны. Ошибочность отрицания существования бессознательного настолько очевидна, что вряд ли следует останавливаться на опровержении такого взгляда — существование бессознательного наглядно демонстрируется самими актами человеческого поведения, которые не связаны с сознательной мотивировкой и вместе с тем явно выходят за рамки чисто биологических реакций на те или иные внешние воздействия. Что же касается отрицания роли бессознательного вне указанных рамок, в частности в сфере художественного творчества, то оно явно противоречит художественной практике даже художников ярко выраженного реалистического стиля. Сложнее обстоит дело с преувеличением роли бессознательного в процессе художественного творчества, — здесь речь идет о мере, которую не так легко определить. Правда, и в этом отношении мы имеем свидетельства многих видных художников, подчеркивающих решающее значение интеллектуального момента в художественном творчестве; даже Эдгар По подчеркивает это, причем как раз на примере своего знаменитого произведения «Ворон». Но известны свидетельства и противоположного характера, в числе них и свидетельство такого выдающегося художника, как Томас Манн.

Бессознательное не только существует во внутреннем мире человека, но и занимает в нем преобладающее место. Вопрос в том, как понимать его сущность и форму проявления и действия. Известно, что человек прошел животную стадию развития. Поэтому во внутреннем мире человека существуют — разумеется, в трансформированном виде — пережитки животных инстинктов. Это — один «слой» бессознательного, который как раз и абсолютизирован и универсализирован фрейдизмом. Также известно, что отражение является универсальным свойством бытия. В человеке в той или иной форме отражается все то, с

<sup>19</sup> Разумеется, мы касаемся здесь этой проблемы не в психологическом, а в философском плане. Различные этих аспектов вряд ли нуждается здесь в объяснении.



чем он вступает в какой-либо чувственный и даже мыслительный контакт. Но, как отмечено выше, не все, что отражается в человеке, становится фактом его сознания — осознаются лишь те отражения, которые связаны с актом внимания. Человеческое сознание никогда не бывает совершенно свободно от того или иного эмоционального или рефлексивного содержания — оно всегда «занято» или какой-либо заботой, или воспоминанием, мечтой, научной или творческой рефлексией и т. д. Поэтому он очень часто «проходит» мимо вещей и явлений, не «замечая» их, то есть не фиксируя на них внимания. Но все, мимо чего он прошел, оставляет «отпечатки» на его нервной структуре. Поскольку человек есть единство биологического и психологического, не все то, что отражается в нем, становится психическим феноменом, но оно несет в себе потенциальную возможность превращения в психическое. Подобные явления составляют другой «слой» бессознательного — кажущиеся на первый взгляд почти не имеющими значения, они могут играть значительную роль при активизации творческого воображения. Вполне возможно, что именно тонкость биопсихической природы составляет один из важных элементов природного дара художника, ибо чем богаче отражена в человеке окружающая действительность, тем легче может он создавать художественные образы.

Есть еще один, более важный «слой» бессознательного — это ушедшие в глубинную сферу внутреннего мира человека актуально пережитые им факты своей жизни и деятельности: эмоции, страсти, конфликты с поражениями и удачами и т. д., в своей совокупности составляющие решающий жизненный фактор, с которым связано у человека переживание счастья или несчастья. Правда, наиболее значительные из них почти на всю жизнь остаются на поверхности сознания, но количественно они ничтожны в сравнении с ушедшими с поверхности сознания и продолжающими существовать во внутреннем мире человека в виде своего рода «заряженности» его высшей нервной структуры. Нет нужды указывать на то, что именно этот «слой» бессознательного наиболее важен для всей жизнедеятельности человека, включая и художественное творчество.

Следует указать еще на один «слой» бессознательного, который играет очень большую роль во всей практической деятельности главным образом в ее «техническом» аспекте — в виде исполнительского мастерства. Когда обучают, например, игре на рояле или на любом музыкальном инструменте, каждый акт упражнения носит сознательный характер. А между тем, само обучение можно считать завершенным только тогда, когда все акты упражнения станут «слепыми» или автоматическими. Принципиально такой же характер носят все упражнения и в области производственной исполнительской техники. Более того, все без исключения навыки являются ушедшими с поверхности сознания актами, в момент своего совершения носящими сознательный характер. И эти навыки тем совершеннее, чем полнее уход подобных актов в сферу бессознательного.

Таким образом, вся сфера бессознательного во внутреннем мире человека состоит из унаследованных в трансформированном виде животных инстинктов, из элементов отражения в человеке окружающей среды, в момент самого отражения не ставших фактом сознания, и из ушедших с поверхности сознания духовно-эмоциональных переживаний и технических приемов во всех сферах практического проявления человеческого сознания. Как видим, это огромная сфера, во много раз превосходящая актуально осознаваемую сферу внутреннего мира человека; в нем нет ничего мистического, сверхъестественного, точно так же, как и ничего проявления человеческого сознания. Как видим, это огромная сфера, во много высшей нервной структуры, готовой выплыть на поверхность сознания или даже бурно вылиться вовне по весьма многообразным поводам и ассоциациям, а порой даже и спонтанно, без всякого видимого повода.

Сведение бессознательного к чисто биологическому началу является наиболее характерной чертой многих современных буржуазных концепций — правда, не все они понимают сам бессознательное по-фрейдовски, то есть не все биологические концепции сводят бессознательное к сексуальной энергии — и поскольку нельзя отрицать важную роль бессознательного в общей жизненной практике человека, намечается весьма опасная тенденция низведения всей человеческой природы до животного уровня. Только биологической закономерности не подчиняется не только бессознательный элемент внутреннего мира человека, но и его организм, — социальная сущность не «приклеена» сверху к биологической структуре человека; она сама в известной степени «пропитывает» эту последнюю, так как сами особенности человеческого организма формировались не в отрыве от формирования внутреннего мира человека в длительном процессе социально-исторической практики. Это относится не только к высшей нервной системе человека. Разумеется, это не означает, что человеческий организм вообще не подчиняется общепсихологической закономерности, — речь идет лишь о том, что эта последняя проявляется



ся в нем специфически, и это обстоятельство учитывается современной медициной, хотя, к сожалению, не всегда в достаточной степени.

Нужно ли указывать на то, что бессознательное механически не отграничено от интеллектуальной стороны сознания, точно так же как и названные выше элементы самого бессознательного механически не наслаиваются друг на друга, а представляют собой взаимопроникающее динамическое единство, проявляющееся в виде сложного переплетения его многообразных функций. Поэтому бессознательное проявляется не только в инстинктивных и «автоматизированных» реакциях человека на воздействия внешней среды, но и в мотивации и даже определении общего направления многих его сознательных действий, в том числе и его художественного творчества. Но само художественное творчество, как и все без исключения акты духовной и даже материальной деятельности человека (за исключением совершаемых во сне или в состоянии лунатизма и галлюцинации), связано с сознательно-интеллектуальными актами и представляет собой в целом сознательно-интеллектуальный процесс. Творчество вообще, как целеполагающая деятельность, принципиально выходит за рамки бессознательного; но это последнее может выступать в нем в виде побуждения, а также в качестве определенного фактора в самом построении художественных образов в виде большей или меньшей красочности и внутренней сложности.

Но сказанное выше не дает ответа на вопрос о рациональности и иррациональности самого процесса художественного творчества. Осознание всякого акта духовной и материальной деятельности еще не означает их понимания в аспекте причинно-следственных отношений, — известно, что художественное творчество немислимо без сознательной ему специфической внутренней логики развития событий и характеров. Эта внутренняя логика не всегда подчиняется замыслу художника. Общий идейно-художественный замысел никогда не может быть детально исчерпывающей схемой развития событий и характеров; признание такой схемы есть фактическое отрицание самого процесса художественного творчества. Именно в самом этом процессе раскрываются крылья художественной фантазии, то и дело появляются совершенно непредусмотренные автором ситуации, персонажи, различные нюансы самих характеров и т. д. В этом аспекте было бы бессмысленно отрицать наличие и даже обилие иррациональных моментов в конкретном процессе художественного творчества. Но может ли это служить основанием для признания художественного творчества как целого иррациональным?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует хотя бы кратко разобратся в сущности интуиции вообще и художественной интуиции в частности, поскольку вторая является лишь специфической формой первой. Наиболее обычной ошибкой в этом вопросе является антиинтеллектуалистское толкование интуиции, представляющее собой, по нашему мнению, результат неправильного — а именно полного — отождествления интеллекта с логически-дискурсивной формой мышления. Интеллект гораздо шире, он охватывает весь диалектический процесс мышления, включающий дискурсивную форму мышления как свой внутренний момент. Если дискурсивно-логическое мышление берет вещи и явления в их относительной устойчивости и качественной определенности, то есть, в дискретной форме их существования, то диалектика берет их в процессе движения и развития, в их неразрывных внутренних связях и взаимопереходах — вместе с дискретной стороной бытия она охватывает и его континуальную сторону. Разумеется, это не означает какого бы то ни было принижения значения абстрактной («формальной») логики — без постижения вещей и явлений в их дискретности и качественной определенности невозможно их постижение в аспекте внутреннего единства, движения и развития; первое является необходимой ступенью ко второму. Именно на такой элементарной (или как Ленин назвал ее «школьной») логике с ее отрицанием противоречия основывается всякое научное суждение и умозаключение, весь процесс доказательства, а, стало быть, и вся область «выводного» знания. Но являясь необходимым условием научного познания действительности, она не является его достаточным условием, ибо познание вещей и явлений вне движения и развития, вне их внутренних связей и переходов всегда остается неполным. А движение, как известно, есть «живое противоречие», диалектическое единство прерывности и непрерывности. Поэтому никакое научное познание не может в конечном счете опрочичиться чисто дискурсивным мышлением, оно «молча» пользуется интуицией, которая только и в состоянии постигнуть непрерывное, то есть связи и переходы, единство общего и единичного. Эти связи и переходы лежат в основе отношений между вещами и явлениями, между всеми дискретными образованиями материи; их можно назвать идеальной стороной материального бытия, недоступной чувственному восприятию, — это последнее в своей непосредственности принципиально опрочичено дискретностью. Какого бы совершенства ни достигло чувственное восприятие путем бесконечного усиления его естественных органов техническими средствами, оно будет воспринимать либо диск-

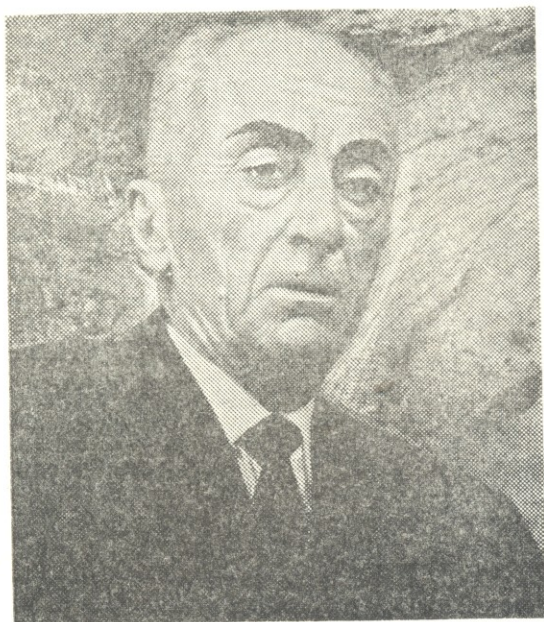


ретные смежные «частицы», либо же — на своем пределе — неразличимую туманность. Стало быть, без дополнения чувственного восприятия какой-то формой непосредственного интеллектуального восприятия вообще было бы невозможно подлинно научное познание действительности. Эта форма восприятия — интуиция, что принято называть интуицией. Таким образом, интуиция есть не «функция» бессознательного, а внутренний момент диалектического мышления, представляющего собой в своей целостности интеллектуальный процесс. Из сказанного следует, что рациональность или доступность осознания не исчерпывает всей сущности интеллектуального, представляя собой лишь одну сторону этого последнего. Поэтому вопреки мнению упрощенцев марксистская гносеология не основывается ни на рационализме, ни на сенсуализме в их традиционном смысле, ни на их «синтезе», а исходит из диалектической природы единого процесса постижения объективной действительности человеческим сознанием, в котором дискурсивное и интуитивное выступают как стороны единого целого. Стало быть, все то, что происходит в самом сознании в процессе познания, не может полностью выразиться в логических понятиях и категориях, подобно тому, как невозможно полностью перевести в понятную форму чувственное содержание сознания. Из сказанного следует, что даже теоретическое познание имеет в определенном смысле двойкий характер: в самом процессе этого познания всегда участвует интуитивный фактор, но его результат находит выражение в дискурсивной форме.

Художественно-творческая интуиция в принципе есть то же самое, что и интуитивная сторона единого диалектического процесса мышления, только проявление ее является специфическим. Эта специфичность заключается не только в том, что в самом художественном таланте интуитивная способность доминирует над дискурсивной, но и — главным образом — в том, что в процессе художественного творчества она принимает характер продуктивного воображения, способного не только воспроизводить действительность в ее целостности, но и творить на основе отражения существующей действительности новую действительность, которая — в реалистическом искусстве — не отходит от существующей, а глубже выражает ее существенные стороны в перспективе развития, соответствующей собственным идеалам художника, причем, критерием реалистичности и жизнестности этих идеалов является их соответствие объективным внутренним возможностям развития самой существующей действительности. Таким образом, художественная интуиция не выходит за рамки естественных закономерностей функционирования человеческого сознания во всей его духовной деятельности, и для ее объяснения нет необходимости апеллировать ни к бессознательному в самом внутреннем мире человека, ни к какой-либо мистической силе за его пределами.

Может быть, за мистическое явление примут саму способность интуитивного постижения не воспринимаемых чувством связей и отношений, особенно ее способность творить новые связи и отношения. Но ни одна из этих способностей не представляет собой большей тайны, чем сама способность сознания отражать объективную действительность в виде ее идеального образа. Способность творческой художественной фантазии создавать новую действительность принципиально не отличается от практической способности сознания создавать искусственные вещи и явления на основе познания закономерностей существующих вещей и явлений. Если возразят, что искусственные вещи и явления создаются из того же объективно существующего материала, тогда как художественная фантазия творит из самой себя, то следует напомнить, что, во-первых, творит она только по аналогии с существующими в самой действительности формами вещей и явлений — даже наиболее фантастические продукты художественного воображения в конечном счете являются лишь искусственным сочетанием этих форм, — а во-вторых, если художественная фантазия творит без «материала» самой действительности, зато, как отметил еще Фейербах, искусство не требует, чтобы его творения выдавали за действительность. Разумеется, речь идет лишь о принципиальном сходстве, конкретно же художественное творчество намного тоньше и сложнее и именно поэтому требует особого природного дара. Наконец, что же касается способности сознания отражать в себе действительность в ее целостности, движении и развитии, нужно иметь в виду, что в самом сознании как в высшем продукте продолжительнейшей истории практического раскрытия свойств и закономерностей объективной действительности с ее многообразнейшими рефлексивными процессами рефлексивно и динамически отражены все основные свойства и закономерности бытия в их сущности — само сознание представляет собой неразрушимую целостность, и процесс его функционирования, естественно, охватывает как дискретную, так и континуальную сторону бытия, то есть оно способно постигать бытие в его целостности, движении и развитии.





## БОЛЬШОЙ ХУДОЖНИК


**Н**ЕИЗМЕРИМУЮ, невосполнимую утрату понесла грузинская советская литература — от нас ушел живой классик, чье творчество на протяжении десятилетий приносило эстетическое наслаждение читателю, а в сокровищнице мировой литературы заняло достойное место рядом с наследием корифеев современного художественного мышления; оно войдет в будущее как свидетельство величайших достижений современной романистики.

Неутомимый художник, Константинэ Гамсахурдиа был одним из самых крупных основоположников грузинской советской литературы. Редко, когда при жизни писатель становится классиком. Но Константинэ Гамсахурдиа оказался достойным быть избранным среди избранных благодаря обширному историческому полотну — тетралогии «Давид Строитель», неповторимым и поразительным по силе художественного мастерства романам «Десница великого мастера», «Похищение луны», «Улыбка Диониса», «Цветение лозы», новеллам, рассказам, многочисленным эссе, оснащенным энциклопедическими знаниями, в которых подобно виноградной лозе логические категории философа-академика переплетены с художественными образами поэта.

Константинэ Гамсахурдиа был поистине великим писателем. Он беззаветно любил родную грузинскую культуру, науку, литературу; в анналах истории с необыкновенной точностью видел он прошлое как урок настоящему; мастерски использовал масштабы европейского образования для художественного озвучивания реликта; патриотическое чувство диктовало ему необходимость титанически трудиться для того, чтобы поднять от Мерчуле до новых вершин будущего наши большие беллетристические традиции.

Истинный и чистый талант Константинэ Гамсахурдиа имел притягательную силу магнита и блеск неподдельной драгоценной оригинальности. Объеми-





стый восьмитомник, которым он встретил восьмое десятилетие своей жизни, самая красноречивая тому иллюстрация. Писатель эпического склада Самсухурдиа всегда оставался лириком — и в художественном изображении внутренних психологических переживаний своих героев, и в описании природы, и в мастерски построенных диалогах.

Всем хорошо известно, что он придал новое звучание волшебному грузинскому слову, грузинскому художественному мышлению, чем значительно расширил границы и познавательный диапазон нашего эстетического чувства. Самозабвенно работал К. Гамсахурдиа над грузинским словом, которое так любил и тонко чувствовал с юных лет. С рыцарской увлеченностью исследовал писатель морфологию грузинского слова, стремясь дать новую жизнь архаическому его звучанию, в неологизмах старался сохранить грамматические особенности строя грузинской речи, а синтаксическим экспериментам придать естественность.

Константинэ Гамсахурдиа сыграл в грузинской литературе ту же роль, что в английской выполнил прославленный автор «Роб Роя» и «Айвенго». Но он никогда и никому не подражал. Выросший из корней грузинской беллетристики, К. Гамсахурдиа шел только своим путем. Автор «Давида Строителя» и «Десницы великого мастера», он оживил в своих произведениях сотни исторических лиц, создал сотни новых образов для того, чтобы колоритно отобразить прошлое и воссоздать его во всей полноте.

Но Константинэ Гамсахурдиа не ограничивался одной лишь исторической тематикой. Помимо новелл и рассказов, он посвятил новой советской действительности такие обширные художественные полотна, как «Улыбка Диониса», «Похищение луны», «Цветение лозы». В первом романе Гамсахурдиа по-новому, на фоне революционного размаха нашей эпохи рассмотрел проблему лишнего человека, пронизывавшую литературу XIX века. Личную трагедию Константина Саварсамидзе он показал, как реальный роковой итог индивидуалистического отчуждения от социальной борьбы. В «Похищении луны» писатель достиг большой силы художественного обобщения, увенчав драматическую борьбу старого и нового победой последнего. В «Цветении лозы» органично показана новая деревня, с ее новыми людьми, сила и жизненность колхозного строя параллельно с героической отвагой советских воинов в Великой Отечественной войне.

В монументальном «Давиде Строителе» период, предшествовавший грузинскому Ренессансу, описан с таким художественным вдохновением и с таким тонким знанием реалий самоотверженной борьбы грузинского народа против турков-сельджуков, с таким глубоким знанием истории древней Грузии, России, Европы, Средней Азии, Ближнего Востока, средних веков, что ему мог бы позавидовать любой профессиональный историк. А блестяще выделенные образы героев — Давида, Георгия Чкондидели, Махара, Ниани Бакуриани, Гварама Эристави, Джеджили, Агсартана, Липарига или Рати Орбелиани (среди них есть как положительные, так и отрицательные личности) свидетельствуют о необычайном художественном размахе и величайшем писательском даре Константинэ Гамсахурдиа. Огромное мастерство писателя проявилось и в создании образов Владимира Мономаха, Святополка, Кузьмы Русского и кузнеца Николая, кипчака Шортая и сотника Латерия, бывшего дьякона Хахутая. В своем романе Гамсахурдиа по праву тонкого знатока использовал исторические труды как Ибн Аласира, Бин Ал-Джауза, Ургаэля, Вардана, Стефаноса, Депремера, так и Нико Марра, Иванэ Джавахишвили, Дмитрия Бакрадзе, Тедо Жордания. Только большой художник и большой ученый мог написать такое необъятное историческое полотно, как роман «Давид Строитель».

В другом романе — «Десница великого мастера» Константинэ Гамсахурдиа на трагедии Константинэ Арсакидзе возвел нерукотворный памятник — сияние творческого гения грузинского народа. Эту истину подтверждает не только древнейшая архитектура, украсившая Светицховели, — в нем как на форуме собраны легендарные зодчие монастыря Джвари и Вардана, которые заставили заговорить камни храмов Баграта и Гелати, ансамблей Анапури и Шуамта. Большое творчество всегда сопряжено с большой духовной нагрузкой, и тот, кто оберегает себя от нее, не может быть вдохновенным художником. Это хорошо понимал Константинэ Гамсахурдиа, и сам был живым олицетворением этой истины.

К. Гамсахурдиа вложил истинные титанический труд не только в своего «Давида Строителя». Переведенная им с итальянского «Божественная комедия» Данте, снабженная глубоким научным комментарием, была принята как бесспорное достижение не только самого писателя, но и всей грузинской советской литературы. Блестящее озвучение на грузинском языке «Страда-

ний молодого Вертера» Гете, так же как и замечательный «Роман жизни Гете» принадлежат золотому фонду творческого наследия Гамсахурдиа. Так же замечательно перевел он «Листья травы» великого американского поэта Уолта Уитмена, классический германский эпос «Песнь о Нибелунгах» (совместно с поэтом Константином Чичинадзе). Имя Константина Гамсахурдиа неотделимо и от грузинской Шекспирианы!

Пламенный патриот своей родины, Константин Гамсахурдиа был горячим поборником дружбы между народами. Разностороннее образование давало ему возможность достойно оценить искусство, литературу и науку других народов. В большом художественном очерке «Украинские темиды» Гамсахурдиа дал достойную оценку прошлому, настоящему и будущему братского нам народа — талантливого народа второй родины Давида Гурамышвили. Серия его эссе, критические статьи о литературе братских советских республик, о восточной и западной литературе наглядно свидетельствуют, с какой широкой меркой подходил писатель к проблемам мировой культуры. Нельзя без волнения и восторга читать статьи Гамсахурдиа о деятельности Леонардо да Винчи, Байрона, Бальзака, Манна, Гоголя, Толстого, Достоевского, Рильке, Демирчяна, Исаакяна, Рейнгарта, Ибсена, десятков других известных советских и зарубежных художников кисти и пера.

С таким же волнением читается прекрасная публицистика Константина Гамсахурдиа, направленная против фашизма, европейской реакции и заокеанского каннибализма.

Сейчас, когда с глубокой душевной болью мы прощаемся с великим грузинским писателем, трудно перечислить все, что им сделано. Для меня лично навсегда останется предметом особой гордости то, что я был студентом Константина Гамсахурдиа — в университете, молодым его критиком и редактором — в литературе, младшим другом — в жизни!

Константин Гамсахурдиа бессмертен в истории грузинской культуры, грузинской литературы как несравненный, великий мастер художественного мышления и художник самого высокого ранга!

Заслуги и имя великого мастера Константина Гамсахурдиа вонститу бессмертны!

Георгий ДЖИБЛАДЗЕ

## Навеки в памяти народной

...ОН БЫЛ СЧАСТЛИВ тем, что при жизни успел увидеть щедрую жатву своего творчества и почувствовать всенародное признание и любовь.

Сегодня наше горе разделяют все народы Советской страны, вместе с нами кончину Константина Гамсахурдиа оплакивает вся многонациональная советская литература, украшением и гордостью которой был великий мастер из Грузии.

Такие, как Константин Гамсахурдиа, не умирают. Они начинают свое бессмертие в благодарной памяти и вечной любви народной.

Григол АБАШИДЗЕ

## Благодарность потомков

...САМ ТЫ УСПОКОИЛСЯ. Но отныне, как это уготовано судьбой истинному творцу и художнику, ты не дашь покоя другим. Отныне думы твои и боль твоя, краски и образы твои не дадут сна детям нашим и их потомкам, станут неотъемлемой частью духа и сознания все новых и новых поколений.

Смерть истинного художника, тем более часы его погребения — это не то время и не тот случай, когда окончательно оценивается его труд, его наследие. Для такой оценки нужен опыт новых и новых поколений. И они вновь и вновь, совершенно по-новому постоянно будут возвращаться к тебе...



Отныне ты уже принадлежишь истории советской литературы. Велико твое наследие. А имя твое с заслуженной благодарностью всегда будет помнить благодарная родина...



Ираклий АБАШИДЗЕ

## *Тяжелая, невосполнимая утрата*

МНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ Константинэ Гамсахурдиа как писатель служил своей стране, родному народу.

Вести напряженный творческий труд на протяжении шестидесяти пяти лет, с одной стороны, счастье, с другой — великая самоотверженность.

Так работать, не щадя себя, может лишь тот, кто действует по велению сердца, кто пишет по призванию души, кто твердо верит, что его творения сослужат добрую службу народу. Таким был Константинэ Гамсахурдиа, незабвенный друг мой еще с гимназической поры...

Серго КЛДИАШВИЛИ

## *Властитель дум*

Будучи великим гражданином своей страны, беззаветно любившим родину, он внушал эти чувства другим людям и своим творчеством, и личной жизнью. Все его мысли, чувства и думы, подобно самоотреченному влюбленному, были сосредоточены только вокруг одного предмета: судьбы народа — его прошлое, настоящее и грядущее было для него единственным мерилom всего сущего.

Константинэ Гамсахурдиа — чрезвычайно занятый человек — никогда не забывал о своем высоком праве человека и писателя. Он всегда был наготове. Он всегда был заступником большой правды, чести, подлинного мужества, совести, доброго начала и обрушивался с обнаженным мечом на всякое зло...

Элгуджа МАГРАДЗЕ

## *Прощальное слово*

СМЕРТЬ КАЖДОГО БЛИЗКОГО, каждого любимого человека уносит с собой часть нашего сердца. Но смерть Константинэ Гамсахурдиа отозвалась в душе чем-то иным, еще более значительным. Он унес с собой нечто грандиозное, но неизмеримо большее оставил нам в этом мире — свое слово, наэлектризованное вечным зарядом неизбывной любви к родине, к жизни, непреходящей ценности тома своих произведений, не подверженных смерти и мимолетности, не подвластных времени. Вот почему и Константинэ Гамсахурдиа останется для нас и для грядущих поколений вечно живым.

Георгий НАТРОШВИЛИ

# Популяризатор немецкой литературы

**В** ГРУЗИИ всегда был велик интерес к немецкой литературе, хотя первоначально ее популяризация основывалась только на деятельности отдельных энтузиастов.

В грузинской периодике XIX века публиковались выполненные классиками грузинской литературы Г. Орбелиани, И. Чавчавадзе, В. Пшавела, Г. Церетели и другими переводы произведений немецких авторов. Причем в большинстве случаев они были сделаны не с оригиналов, а с русских переводов. Таким образом, Россия, великая русская литература, в данном случае русские переводы являлись тем мостом, через который в Грузию входила немецкая литература.

В отличие от предыдущего столетия в XX веке многие представители грузинской культуры, в том числе мастера художественного слова, непосредственно в самой Германии знакомилась с немецкой и европейской литературой.

«Среди грузинской молодежи моего времени, — читаем в воспоминаниях критика Г. Кикодзе, — престиж немецкой культуры был столь же высок, как и престиж Франции среди молодежи поколения Нико Николадзе и Сергея Месхи». По словам Г. Кикодзе, интерес к Германии усиливал то поэтическое представление об этой туманной стране, которое было составлено ими по «Песне о Нибелунгах», стихам Ге-

те, Шиллера, Гейне, рассказам Гофмана.

К числу этой молодежи принадлежал и Константин Гамсахурдиа, чья творческая биография тесно связана с немецкой литературой. Писатель всячески способствует популяризации в Грузии многовековой духовной культуры немецкого народа. Свидетельством этого являются его замечательные оригинальные произведения на немецкие темы и великолепные переводы с немецкого. Плодотворная переводческая деятельность К. Гамсахурдиа представляет собой продолжение тех богатых традиций, которые существовали в Грузии в деле перевода.

Известный общественный деятель ГДР, большой друг грузинского народа А. Курелла следующим образом описывает период пребывания Гамсахурдиа в Германии: «...Первое знакомство с Германией началось в 1912 году, когда абитуриент внезапно оставил Петербургский университет и направился в Кенигсберг для изучения философии и всемирной истории. Через год мы находим его в Лейпциге, где он слушает психологию у Вундта, эстетику у Кестнера и другие специальности у лейпцигских профессоров.

Из Лейпцига он переехал в Мюнхен, где его учителями были прежде всего ориенталист профессор Гоммель и германист профессор Фридрих фон дер Лайен».



Пребывание в Германии расширило круг интересов К. Гамсахурдиа, его умственный горизонт. Он глубже вник в суть общественно-политических и культурных вопросов Западной Европы. Глубоко пережитые и прочувствованные в Германии явления и события большой мастер художественного слова воспроизвел впоследствии в своих неувыдаемых полотнах.

Основательные, всесторонние знания и необычайное художественное чутье давали возможность молодому писателю смело высказывать свои соображения по вопросам литературы, философии, политики, что снижало ему большой авторитет среди немцев. Грузинский студент был лично знаком со многими известными деятелями тогдашней Германии. Среди них следует особо выделить крупнейшего немецкого писателя Т. Манна, сыгравшего важную роль в творческом формировании К. Гамсахурдиа, который в автобиографии пишет: «В Мюнхене я перевел одну новеллу Т. Манна. Он пригласил меня на свою виллу по Шингенштрассе № 1. Там я познакомился с его братом Генрихом, со многими академиками, профессорами и художниками. Благодаря Т. Манну я получил доступ в мюнхенскую прессу, занялся переводами, опубликовал ряд статей. Я перевел в стихах поэму В. Пшабела «Змеед», редактировал некоторые переводы грузинских авторов, публиковавшиеся в лейпцигском издательстве «Реклам - библиотек».

К этому следует добавить, что Т. Манн и в дальнейшем оказывал всяческую помощь талантливому молодому человеку. О внимании немецкой общественности к К. Гамсахурдиа свидетельствует и тот факт, что в 1919 году в берлинском журнале «Новый Восток» был опубликован перевод его стихотворения «Ноябрьский ветер», а в Веймаре была издана публицистическая брошюра «Кавказ в мировой войне». Кстати, она большим тиражом вышла и в Америке.

Свою переводческую деятельность К. Гамсахурдиа продолжил и после возвращения на родину. В 1924 году в журнале «Кавказиони» было опубликовано переведенное им лучшее поэтическое произведение немецкого католического поэта XVII века Ангелуса Силезиуса «Херувимский странник». В этом же журнале был помещен перевод К. Гамсахурдиа отрывка из статьи Гете «О немецком зодчестве».

В 1929 году журнал «Мнатоби» поместил несколько переводов К. Гамсахурдиа. Это — стихотворения известного немецкого поэта И. Бехера «Двести тысяч», «Массы» и «Русский пролетарий», рассказ Г. Кессера «Штрассенман». В том же году журнал начал

публиковать перевод антивоенного романа Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», который вышедшей отдельной книгой в 1931 году. Следует особо выделить великолепно выполненный перевод бессмертного произведения Гете «Страдания молодого Вертера».

Искусство перевода, по мнению К. Гамсахурдиа, сфера, граничащая с писательством. Во все времена этим делом занимались сами писатели, самые великие корифеи слова или же высокообразованные ученые, обладающие поэтическим талантом. Переводчик был той работающей пчелой, которая разносила между разными нациями благодатное благоухание и оплодотворяла ту или иную национальную культуру. Подобно этой пчеле ратал и сам К. Гамсахурдиа на поприще переводчика.

Особенно велик вклад, внесенный им в дело популяризации творчества Гете в Грузии. Проблемам, связанным с творчеством великого немецкого поэта, мыслителя и ученого, уделено чрезвычайно большое внимание в художественных произведениях и литературно-философских высказываниях грузинского писателя. Столь глубокое проникновение в творческий мир Гете объясняется тем, что К. Гамсахурдиа является одним из тех немногих писателей, которые благодаря своему таланту и эрудиции способны воспринимать мысли и идеи Гете. Писатель вспоминает, что еще во время пребывания в Лейпциге у него пробудился интерес к Гете. «Работал я в семинаре Гете, прилежно изучал архив Гете. ...Будучи еще юношей, я осознал, что именно Гете был достоин подражания. Он был великим мастером не только в литературе, но и в самой жизни».

Здесь следует добавить, что и в Грузии, где вырос и получил первоначальное образование К. Гамсахурдиа, было к этому времени немало сделано в смысле популяризации творческого наследия великого Гете, масштабность мышления, высокое художественное мастерство которого всегда импонировали передовой грузинской общественности.

На страницах периодических изданий довольно часто публиковались переведенные на грузинский язык произведения Гете. Все это дает право полагать, что и до поездки в Германию К. Гамсахурдиа был хорошо осведомлен о его личности и творчестве. Как уже было отмечено, перу К. Гамсахурдиа принадлежат переводы ряда произведений Гете, среди которых особо выделяется перевод романа «Страдания молодого Вертера».

Первый перевод «Вертера» на грузинский язык осуществил в 1900 году





И. Ахалшенишвили, а вторично перевел этот роман К. Гамсахурдиа.

По-новому, более эмоционально и колоритно, чем в предыдущем переводе, звучит «Вертер» под пером К. Гамсахурдиа. Это полноценный художественный перевод, передающий смысл немецкого оригинала во всей его выразительной полноте, сохраняющий силу художественных форм, дух и настроение подлинника. К. Гамсахурдиа мастерски использует необычайное богатство и возможности грузинского языка. В каждой фразе чувствуется стремление переводчика сохранить звучание оригинала. Он улавливает правильную тональность переводимого текста. Необходимо отметить, что высокий уровень перевода обусловлен, вместе с другими немаловажными факторами, большой заинтересованностью и высокой степенью знания переводчиком личности и всего творчества Гете.

При сравнении немецкого текста «Вертера» с грузинским переводом можно обнаружить несколько отклонений от подлинника, явных несоответствий оригиналу. Как доказывают блестящие переводы отдельных мест из того же «Вертера» и других произведений, К. Гамсахурдиа превосходно владеет немецким языком.

Так в чем же дело? Ответом на данный вопрос могут послужить несколько высказываний самого переводчика. Относящиеся к разным периодам его творческой деятельности, они в какой-то мере объясняют особенности его переводческой манеры:

а) «Главной целью переводческого дела является передача на другой язык духа того или иного произведения, а не нахождение адекватного эквивалента, достижение чего совершенно невозможно...»

б) «Хороший переводчик всегда переносит незримую благодать и красоту того языка, с которого переводит произведение, именно этим отличается хороший переводчик от плохого. А вообще дать абсолютно точный перевод гениального произведения невозможно. Не будь этого, появились бы их дубликаты на разных языках».

в) «Процесс перевода — сложнейшее дело. Переводчик не должен слеповать дословно переводимому материалу.

Например, когда я перевел «Вертера», опустил там некоторые места, потому что они ничего не давали грузинскому читателю. Принцип такого перевода нужен потому, что перевод есть перенесение духа произведения, а не букв».

К. Гамсахурдиа — переводчик реализует все эти эстетические принципы. Но он не довольствуется только ими и до-

бывается того, чтобы каждый перевод звучал как оригинальное произведение. Это одна из особенностей его переводческого стиля.

На единство собственного оригинального стиля переводчика и стиля грузинского перевода «Вертера» впервые обратил внимание профессор Г. Гачечиладзе. По его мнению, «это принципиальная позиция переводчика, который вносит переведенное произведение в орбиту своего собственного творчества и не пытается подчиниться стилю оригинала».

Говоря о наличии в переводе несоответствий и отклонений от оригинала, Г. Гачечиладзе приходит к заключению, что «здесь мы имеем дело не с простыми ляпсусами, а с сознательным и принципиальным отношением переводчика к оригиналу, с его субъективистским методом, который продиктован той модернистской школой, к которой принадлежал в то время переводчик».

Известно, что двадцатые годы — период, когда создавался перевод «Вертера» — были и для К. Гамсахурдиа годами идейных противоречий, ошибок и творческих поисков. Да и вся грузинская литература искала в те годы новую тематику, новые формы для выражения новых идеалов.

Вернувшийся из Германии К. Гамсахурдиа находился под особенно сильным влиянием модного в то время на Западе экспрессионизма, который в отличие от других направлений возник на немецкой почве под воздействием художественных импульсов, полученных в самой Германии.

Уже в самом этом термине, означающем «выражение», схвачена характерная направленность нового стиля — от внутреннего к внешнему, от субъективного к объективному.

«Художник — экспрессионист для немца, — пишет А. В. Луначарский, — это человек с богатыми переживаниями. Художественная техника для него лишь способ выражения, а не самоцель... Он считает себя вправе употреблять какие угодно краски, увеличивать, уменьшать, видоизменять как угодно формы».

На наш взгляд, именно отсюда берет начало своеобразная модернистская манера, характерная для К. Гамсахурдиа — переводчика, который по-своему подходит к переводимому тексту, иногда даже видоизменяет его форму и делает это для того, чтобы как можно лучше и полнее передать дух и строение оригинала.

Почти во всех переводах К. Гамсахурдиа можно обнаружить точки сопри-

<sup>1</sup> По сообщению автора книги, материал, посвященный переводу «Вертера», собрал и передал ему профессор Н. Какабадзе.



косновения с его оригинальным творчеством. Переводы служат его интересам как писателя. Поэтому он тщательно отбирает лишь созвучные своим творческим планам и устремлениям произведения немецкой литературы. Отдельные переводы представляют собой предварительные зарисовки, эскизы для будущих многокрасочных оригинальных полотен. Таким эскизом является и перевод «Вертера», который можно рассматривать как один из этапов на пути более глубокого изучения К. Гамсахурдиа личности и творчества Гете. Несомненно, что этот перевод сыграл значительную роль в процессе работы над оригинальным произведением о великом немецком поэте, мыслителе и ученом — «Романом жизни Гете», написанном в биографическом жанре.

О большом интересе К. Гамсахурдиа к Гете свидетельствует и тот факт, что в названном романе даны переводы двух отрывков из автобиографического сочинения «Из моей жизни. Поэзия и правда». Писатель берет из произведения Гете по одному абзацу в начале и в конце и использует их в качестве эпиграфов для первой и шестнадцатой глав своего романа.

Эти переводы полноценны и эквивалентны оригиналу; к сожалению, этого нельзя сказать о переводе стихотворения «Песнь духов над водами», который помещен в восемнадцатой главе романа о Гете.

Для этого перевода характерно вольное отношение переводчика к оригиналу, явные отклонения от текста. В данном случае оригинал лишь материал, из которого он берет то, что его интересует, и отбрасывает все кажущееся ему менее важным, второстепенным. Здесь мы имеем дело со своеобразной, оригинальной переводческой манерой К. Гамсахурдиа. Если в оригинале и в русском переводе, принадлежащем Д. Недовичу, тридцать пять стихотворных строк, то в переводе К. Гамсахурдиа лишь двадцать две. Этот перевод является вольным подражанием стихотворению Гете, о чем свидетельствует и его иное название «Песнь Мионов».

Перевод стихотворения впервые появился на страницах изданной в 1911 году «Хрестоматии по западноевропейской литературе». Здесь же был помещен и перевод лирического шедевра Гете «Ночная песнь странника» под названием «Умолкли горы и дуга».

По сообщению профессора А. Гацереги, первый перевод названного стихотворения Гете принадлежит известному грузинскому поэту Г. Орбелиани: «В 1864 году он перевел «из Лермонтова» гениальное стихотворение Гете «Ночная песнь странника», которое как лермонтовский перевод озаглавлено —

«Горные вершины». Перевод Г. Орбелиани довольно пространний, но все же сохраняет дух подлинника».

Что касается перевода К. Гамсахурдиа, то он выполнен непосредственно с немецкого оригинала. В нем сохранены особенности поэтического слова Гете, переданы идея и замысел автора, общее настроение и выразительная картинность стихотворения.

С характерной для К. Гамсахурдиа модернистской манерой мы имеем дело в переводе отрывка из статьи Гете «О немецком водчестве», которая является своеобразным гимном Эрвину из Штейнбаха, творцу Страсбургского собора — великолепного памятника зодчества немецкого средневековья, притягивавшего Гете свой необычайной красотой.

Величественная Страсбургская кафедра вновь оживает под пером К. Гамсахурдиа в оригинальном произведении «Роман жизни Гете».

Может быть, здесь небезосновательной будет мысль о том, что уже в период работы над переводом отрывка из указанной статьи и над романом о жизни Гете К. Гамсахурдиа подсознательно готовился к созданию образа великого мастера Арсакидзе, зодчего мцхетского собора Светицховели, главного героя романа «Десница великого мастера». На эту мысль невольно наводит сравнение некоторых мест из гетевского текста с текстом из романа К. Гамсахурдиа.

Идеалистические и мистические теории, в плену которых он находился в свое время, имели непосредственную связь с экспрессионизмом, так как одной из его особенностей являлась мистичность. Именно этим объясняется обращение К. Гамсахурдиа к книге афоризмов на философско-мистические темы «Херувимский странник» католического поэта Ангелуса Силезиуса.

И еще одна особенность, характерная для немецкого экспрессионизма, нашла свое выражение в переводческом творчестве К. Гамсахурдиа — это антибуржуазность.

Бурная эпоха, стремительность и масштабы происходящих событий, противоречия империалистической Германии — на таком историческом фоне развивался немецкий экспрессионизм. В произведениях многих его представителей звучала ненависть к старому миру, миру эксплуататоров и милитаристов.

Но этот протест был все же слабым в идейном отношении, в нем чувствовалось понимание всей порочности социальной природы империализма, но не были видны практические пути воплощения демократических мечтаний в действительность.



Чаще всего экспрессионисты рисовали действительность слишком прямолинейно, плакатно, используя грубые и резкие штрихи. «Они хотят, — пишет советский литературовед Л. Копелев, — чтобы их искусство воспринимало и воссоздавало «новый облик» индустриального мира заводов, портов, больших городов и «новую акустику» — исполненные диссонансов шумы улиц, грохот и скрежет машин, железных дорог. А вместе со всем этим и мучительные социальные и нравственные диссонансы — роскоши и нищеты, лжи и правды. Они хотят запечатлеть, выкричать и выпеть страдания, гнев, тоску, надежду, страх, возмущение, все, что ощущают в пестрых разноголосых буднях Германии. Они требуют от литературы обнаженной тенденциозности, резких контрастов в распределении светотеней, «ударяющей», «взрывчатой» выразительности слова и образа, патетичной напряженности стиха и повествования».

Эти особенности экспрессионизма находят свое выражение и в ряде стихотворений выдающегося поэта И. Бехера, относящихся к экспрессионистскому этапу в его творчестве. В таких поэгических документах тех лет, как «Двести тысяч» и «Массы», И. Бехер рисует проникновенный образ немецкого рабочего класса, массы людей, осознавших свою мощь. И. Бехер не индивидуализирует отдельные образы рабочих, его цель противопоставить коллективизм масс и индивидуализм представителей капитала.

Художественное своеобразие этих стихотворений во многом обусловлено тем, что они предназначены для широких масс. И. Бехер пытается придать отдельным фразам форму опозитированных политических лозунгов, он упрощает стиховую речь. Но подобное упрощение отнюдь не означает отказа поэта от принципов, свойственных экспрессионизму. В указанных стихотворениях довольно часто можно обнаружить разрушенную строфическую и ритмическую организацию стиха, весьма вольное обращение с рифмой, большое количество многоточий, восклицательных знаков, схематичный, тяжелый язык, неясные метафоры.

Со всеми этими трудностями, исходящими из своеобразной поэтической манеры И. Бехера — экспрессиониста, довольно успешно справляется К. Гамсахурдиа, переводчик указанных стихотворений на грузинский язык.

В данном случае столь характерное для переводческой манеры К. Гамсахурдиа выражение собственного «я» менее заметно.

Наряду с изображением революционной борьбы германского рабочего класса в двадцатые годы в творчестве И. Бехера значительное место занимают темы Октябрьской революции и социалистического строительства в СССР. Рабочему классу России посвящает поэт стихотворение «Русский пролетарий».

В грузинском переводе этого стихотворения, принадлежащем К. Гамсахурдиа, ярко чувствуется боевой дух оригинала, вера немецкого поэта в светлое будущее.

Свидетельством того, что происходившие в двадцатых годах в Германии и во всей Европе бурные исторические и политические события постоянно находились в центре внимания К. Гамсахурдиа, служит также перевод рассказа «Штрассенман», автор которого немецкий писатель, драматург и эссеист Г. Кессер в типичной экспрессионистской манере описывает годы инфляции в Германии.

Своеобразным продолжением антиимпериалистической линии в переводческом творчестве К. Гамсахурдиа является перевод одной из лучших в свое время книг об империалистической войне — романа Э. М. Ремарка. «На западном фронте без перемен».

Особая ценность этого перевода в том, что он по своему художественному качеству адекватен оригиналу, в нем полностью сохранена сила большого эмоционального воздействия, ясно чувствуется критическая линия автора романа, клеймящего ложь и лицемерие милитаристов, ненавидящего империалистическую войну.

С подобным обличением войны, с такими же страшными картинами тяжелых военных будней встречаемся мы и в новелле К. Гамсахурдиа «Серебряный перстень», посвященной дням войны.

Все его переводы сыграли весьма значительную роль в деле приобщения многих тысяч грузинских писателей к образцам немецкой литературы. Своими переводами К. Гамсахурдиа внес достойный вклад в дело дальнейшего укрепления грузино-немецких литературных связей, обогатил грузинскую литературу новой тематикой, новыми красками.





## ТЕМА КАВКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

**В**ЫШЛА в свет новая книга о Пушкине известного ленинградского ученого Б. С. Мейлаха «Талисман» (Книга о Пушкине. Москва, изд-во «Современник», 1975). С масштабностью и глубиной, которыми всегда отмечены труды этого маститого исследователя, она освещает многие первостепенные для изучения творчества великого поэта вопросы и, можно с уверенностью сказать, вызовет не только сугубо научный, но и самый широкий читательский интерес.

Книга состоит из отдельных, внешне самостоятельных глав, объединенных, однако, единством замысла. Его, по-видимому, можно сформулировать так: представить творчество А. С. Пушкина в сложных и многосторонних связях с историей русской литературы, с историей русского общественного движения, раскрыть его как выдающееся явление искусства, вечно движущееся и изменяющееся, которое бег времени не удаляет, а приближает к нам.

Этому сквозному для всей книги замыслу посвящена и первая глава книги, которую мы хотим особо выделить и сделать темой специального разговора (композиция книги это разрешает). Глава называется выразительно, пушкинскими словами: «И новый для меня Парнас». Посвящена она кавказской тематике в творчестве великого русского поэта. В силу ряда причин, и объективных, и субъективных, Кавказ занял одно из центральных мест в творческой биографии А. С. Пушкина. Белинский писал: «Муза Пушкина как бы осыттила давно уже существовавшее родство России с этим краем...». Он разрабатывал кавказскую тему в разные периоды своего творчества и в разных жанрах: в шедеврах своей лирической поэзии, в поэме, в прозе. Естественно поэтому, что тема Кавказа в творчестве Пушкина не раз становилась объектом исследовательского интереса. Б. С. Мейлах, в частности, называет книгу профессора В. С. Шадури «Декабристская

литература и грузинская общественность», где она подвергнута специальному изучению, упоминает как о «значительном вкладе в разработку проблемы» о Всесоюзной XXI пушкинской конференции, состоявшейся в Тбилиси в 1971 году и приуроченной к 150-летию окончания А. С. Пушкиным поэмы «Кавказский пленник».

Надо заметить, однако, что при всей своей изученности проблема «Кавказ и Пушкин» все еще не исчерпана, как, впрочем, все в бескрайнем творчестве великого поэта.

Б. С. Мейлахом она ставится широко, масштабно, не локально, а на основе целостной характеристики пушкинского творчества, в соотнесенности со всеми его другими компонентами, с важнейшими темами, мотивами, проблемами. Автор работы предлагает рассматривать тему в динамическом процессе развития А. С. Пушкина — поэта и прозаика, в многосторонних, конкретных связях его с литературным и освободительным движением эпохи.

Кавказская тема возникла в кризисный для Пушкина момент, в годы политической ссылки на юг в 1820 году. Б. С. Мейлах убедительно показывает, что обращение к этой теме означало, по существу, новый этап в творчестве поэта, восхождение на «новый для него Парнас», что художественные решения, к которым он пришел здесь, связаны с общими чертами его метода и с его эволюцией.

Впервые зазвучав в поэме «Кавказский пленник» (1820 — 1821), эта тема вдохновила Пушкина на цикл стихотворений, каждое из которых — шедевр его лирической поэзии (Б. С. Мейлах называет их «замечательной кавказской сюитой лирических стихов»). Затем следует поэма «Тазит», замыслы «Романа на кавказских водах» и поэмы о русской девушке и черкесе и, наконец, проза — «Путешествие в Арзрум».

Согласно концепции Б. С. Мейлаха, говорить следует не об отдельных про-



изведениях Пушкина, навеянных кавказскими впечатлениями, а о едином комплексе этих произведений. Существует, утверждает исследователь, некая внутренняя логика, которая объединяет эти произведения в единый идейно-художественный комплекс или цикл, и эта логика одновременно отражает общие закономерности идейно-художественной эволюции пушкинского творчества. Кавказский идейно-художественный комплекс рассматривается, таким образом, как веха, как этап творческого пути Пушкина, давший толчок его последующим исканиям.

Исследованию поэтики «кавказской лирической сюиты» Б. С. Мейлах отводит значительную часть главы. Он полагает, что в ней Пушкиным были найдены новые принципы изображения природы и человека, развитие которых привело впоследствии к новым художественным решениям. Положение это подтверждается глубоким, насыщенным тонкими наблюдениями анализом стихотворений, входящих в состав «сюиты», — «Кавказ», «Обвал» и др.

В собраниях сочинений Пушкина стихотворения «кавказской сюиты», как все вообще произведения Пушкина, расположены по принципу хронологическому: учитываются не только год написания, но и месяц, и день (когда это возможно). Но в своем сборнике, изданном в 1832 году, указывает Б. С. Мейлах, Пушкин печатал стихотворения этого цикла в порядке, отражающем их внутреннюю связь: «Кавказ», «Обвал», «Монастырь на Казбеке», «Делибаш», «На холмах Грузии», «Не пленяйся бранной славой», «Дон». В такой последовательности, как это показывает исследователь, есть своя продуманность и заданность: Кавказ изображается в контрастах, настроения лирического героя ощущаются в их резкой смене, а весь цикл воспринимается как полифонический.

Характеризуя кавказские произведения Пушкина, Б. С. Мейлах уточняет то общее, что объединяет их в цикл. Это, считает он, «такое видение мира, которое открывает возможность беспредельного, широкого охвата жизни. Это своеобразный синкретизм, сочетание философской обобщенности и тончайшей детализации, типизации и одновременных авторских оценок всего, что попадает в поле зрения автора». Вывод этот сформулирован, как уже было сказано, как итог внимательного анализа художественной структуры кавказских произведений Пушкина. Исследуется стихотворение «Кавказ» (Б. С. Мейлах справедливо полагает, что оно носит обобщающий, как бы программный для цикла характер), ставшее «новым явлением в поэзии благодаря сочетанию философ-

ской обобщенности с динамикой образов, воплощенных в новых ракурсах пространства и времени».

Анализируя другое прославленное стихотворение из «кавказской лирической сюиты» — «Обвал», его сложную композицию и структуру, автор приходит к обобщающему выводу: «В русской поэзии до этого стихотворения нет произведения на темы природы, столь своеобразного по своей образно-ритмической структуре. Инструментовка стиха, воссоздающая звуковую картину обвала, оригинальное строение строфы и системы рифмовки — все это позволило создать картину катастрофического движения в природе, побеждаемого, однако, упорством человеческой воли. Кавказская лирическая сюита является одним из ярких воплощений общих новаторских принципов Пушкина в поэзии».

Надо заметить, что вопрос о новаторских принципах, воплощенных в кавказском цикле Пушкина, встает и в другом аспекте — аспекте взаимодействия литературы. «Обвал» был переведен на грузинский язык современником Пушкина поэтом-романтиком Александром Чавчавадзе, который вообще был блистательным переводчиком пушкинской поэзии и среди грузинских переводчиков Пушкина первой половины XIX века по праву занимает особое место. Тициан Табидзе заметил даже, что «Александр Чавчавадзе проделал основную работу по овладению пушкинским стихом». В ту пору «переложений» и «уподоблений» А. Чавчавадзе создал те немногие переводы, которые смело можно считать адекватными пушкинским оригиналам. И эта точность позволяет судить о том, в чем перекликался грузинский поэт со своим великим русским собратом, а также о том, какие выразительные средства в поэтике национального искусства, в его традиции оживают под его пером для перевыражения пушкинского стиха.

Оригинальное творчество самого А. Чавчавадзе являет собой убедительный пример масштабности мышления, соединенной с ярким поэтическим умением мыслить звуками и цветом. Пластичность поэзии А. Чавчавадзе — это пластичность не только музыкального (даже не столько музыкального, в отличие от других романтиков), но и живописного образа. Многие его стихотворения можно причислить к шедеврам звуковой картинности. Напомню его знаменитый «Кавказ», впоследствии отождествившийся в творчестве Г. Орбелиани («Вечер прощания») и Ильи Чавчавадзе («Записки путника»).

Пушкинский «Обвал» (кстати, и «Медный всадник», который он тоже переводил) привлек его, по-видимому, тем своеобразием образно-ритмической



структуры, инструментовки стиха и тем высоким искусством живописи, соединенным с широтой и обобщенностью мышления, о которых говорит Б. С. Мейлах.

Очень важна мысль о лирической соотнесенности со всем мироощущением Пушкина его восприятия нравов кавказских народов и гордой, величественной кавказской природы. И эта гордая природа, и нравы свободолюбивых кавказцев при всей своей почти осязаемой предметности и поражающей верности объекту служат лирическому самовыражению поэта.

Удаление в чужой, далекий мир Непреклонности и Отваги, каким воспринимался Пушкиным Кавказ, имеет для него значение как возможность возврата к своему, очень личному, очень лирическому, к тому высокому настрою мыслей и чувств, о котором лучше всего сказал сам поэт:

**Сохраню ль к судьбе презренье,  
Понесу ль навстречу ей  
Непреклонность и стремленье  
Гордой юности моей?**

Все сказанное — случайно ли, намеренно — находит косвенное подтверждение и в том, что с главой, посвященной кавказской теме в творчестве Пушкина, в книге непосредственно соседствует глава, в которой широкий комплекс декабристских мотивов в последекабрьском творчестве Пушкина также дан в соотнесенности со всем его поэтическим миром. Ведь декабризм, как известно, в трудные годы последекабрьской реакции оставался для Пушкина тем источником, из которого он черпал силы для своей гордости, гражданской стойкости, трагической непримиримости.

Много внимания уделяет Б. С. Мейлах аргументации того положения, что общее свойство поэтического мышления Пушкина — его универсальность и синтетичность, разветвленная цепь ассоциаций — отозвалось во всех частностях и деталях поэтики кавказского цикла. В связи с этим перед исследователем закономерно встает вопрос о конструктивной функции и смысловом звучании образов кавказской природы.

Дело в том, что картины природы в кавказском цикле — не только колоритные «описания», ландшафт, пейзаж. Они безукоризненно точны и верны действительности (Белинский восхищался уже той точностью изображения, которая заключена была в строках: «Великолепные картины! Престолы вечные снегов...»), но они живут и воздействуют на читателя еще и тем, что имеют самое прямое отношение к внутреннему миру поэта, потаенному миру его чувств и мыслей.

В этом смысле Кавказ в поэтической системе Пушкина воспринимается как грандиозное иносказание, так сказать, «инобытие» запретной территории Вольности, Непреклонности, Борьбы. Б. С. Мейлах замечает, что эпитеты в системе пушкинских изображений кавказской природы воспринимаются как устойчивые: «негодующий Кавказ», «грозный Кавказ», «неприступные горы», «неукротимые реки» и т. д. В самом деле, слова воздействуют здесь не только силой своих прямых значений, но и силой тех поэтических ассоциаций, которые стоят за ними и связаны с ними.

Тонкие нити этих ассоциаций и аналогий направляли мысль читателя в определенное русло: деспотизм, борьба с ним, гордое терпение в годину бедствий.

Я, наверное, не ошибусь, если скажу, продолжая мысль исследователя, что устойчивые эпитеты, которыми у Пушкина характеризуются картины кавказской природы, тоже воспринимались как слова-сигналы, слова-символы, наподобие тех, к которым поэт обращался в своей последекабрьской лирике, чтобы напомнить о декабристах.

Установка исследователя — проследить, как эволюция Пушкина-художника и Пушкина-мыслителя отразилась во всех звеньях кавказского идейно-художественного комплекса, сказала на всех выводах, к которым он приходит и к которым подводит читателя. В частности, поэма «Тазит» (1829—1830), эта вторая кавказская пушкинская поэма, представляет собой, как утверждает Б. С. Мейлах, пересмотр тех художественных решений, которые содержались в первой (т. е. в «Кавказском пленнике»): глубже и мотивированнее характеры, шире и мудрее взгляд на русско-кавказскую проблему. Он отражает эволюцию постоянного, серьезного интереса великого русского поэта к народностям Кавказа, веру в возможность их дружеского сближения с Россией.

Наконец, убедительны и интересны наблюдения над «кавказской прозой» Пушкина — «Путешествием в Арзрум». По мысли автора, это не путевые очерки, не дорожный дневник, как принято считать по традиции, а многоплановое, сложное по структуре, по идейному замыслу и композиции произведение лирико-эпического и публицистического характера, в котором Пушкин подвел итоги своим размышлениям о Кавказе.

Формулировка «проза поэта» применительно к «Путешествию в Арзрум» (а не «поэтическая проза», к которой с таким неодобрением относился Пушкин) воспринимается в русле новейших изучений сложной простоты прозы поэта.



Б. С. Мейлах выдвигает одну из важнейших проблем в изучении пушкинского прозаического стиля — вопрос о генетической связи его прозы с поэзией, об утверждении «поэзии действительности» в пушкинской «прозе поэта». В этом смысле, как полагает исследователь, «Путешествие в Арзрум» занимает совершенно особое место: «Нельзя, пожалуй, назвать ни одного произведения Пушкина в прозе, где проза так гармонично сочетается с поэзией, где содержится широчайший регистр интонаций — то бесстрастных, то восторженных, то обличительных, то лирических, где портретные зарисовки даны с предельной живописной яркостью, с таким лаконизмом, который соперничает с лаконизмом стихотворной формы».

Остановлюсь еще на одной концепции исследователя, представляющей глубокий интерес.

Б. С. Мейлах предлагает рассматривать восприятие Пушкиным кавказской природы и быта, новизну впечатлений, чувство обновления, которое они ему принесли, с точки зрения психологии творчества.

Вне сомнений, такой аспект исследования темы «Россия и Кавказ» открывает большие возможности в смысле углубления и укрупнения масштабов исследования.

Действительно, почему, как пронизательно заметил Луначарский, Лермонтов «томительно искал другой обстановки, не петербургской»? Почему Пушкин был в самое сердце поражен Кавказом, едва увидев его? «Он влюблен в него

всею душой и чувствами; он проникнут и напоен его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами... Он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга», — с тонким пониманием писал Гоголь, сам поэт душой. Кавказ дарил ему то желанное чувство освобождения, сообщал его душевному настрою ту независимость и высоту, в которых он так нуждался для творчества.

Далекий, вожделенный брег!  
Туда б, сказав прости ущелью,  
Подняться к вольной вышине!  
Туда б, в заоблачную келью  
В соседство бога скрыться мне!

Этим строкам предшествует удивительная по поэтической зримости картина монастыря на Казбеке, который

...за облаками  
Как в небе реющий ковчег  
Парит, чуть видный над горами.

Совпадение жизненных и творческих идеалов поэта и реальной картины кавказской действительности, безусловно, дает основание говорить о Кавказе в творчестве Пушкина в плане психологии творчества и считать кавказские впечатления могучим импульсом творческого воображения, отправным пунктом живого, органического процесса.

Глубоко концептуальная работа Б. С. Мейлаха с живым вниманием будет принята всеми, кто интересуется пушкинским истолкованием и осмыслением большой проблемы «Россия и Кавказ».

Лина ХИХАДЗЕ

## ЖАНРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

ОТДЕЛЬНЫЕ высказывания по проблеме жанра памятников древнегрузинской светской литературы встречаются в трудах Н. Марра, К. Кекелидзе, И. Джавахишвили, П. Ингороква и других, однако никто по сей день не ставил задачи специально-исследования данной проблемы.

По справедливому замечанию академика А. Г. Барамидзе, «сперва обычно рождаются далеко идущие теории, а затем начинаются поиски подтверждаю-

щих эти теории фактов. Методологически было бы вернее строить теоретическое здание на твердой основе выверенных и всесторонне изученных неоспоримых фактов».

При определении литературного жанра «Амирандареджаниани» А. Г. Барамидзе рассматривает мнения Н. Марра, К. Кекелидзе, Ш. Нуцубидзе, К. Дондуа и других ученых и на основе анализа литературных фактов приходит к выводу, что «Амирандареджаниани» не вы-



ражает идеи рыцарской любви, которая не является здесь основой сюжетной конструкции. Любовные муки, сердечные переживания тут исключены, главным мерилом являются твердая длань и бесстрашное сердце.

Как сказано в рецензируемом сборнике трудов А. Г. Барамидзе, являющимся V томом «Исследований по грузинской литературе», большинство исследователей считают «Амирандареджаниани» рыцарским романом. Единственным ученым, поставившим под сомнение такую жанровую характеристику этого памятника, был академик И. Джавахишвили, по мнению которого в рыцарских романах речь должна идти прежде всего о рыцарях и основной частью повествования должны являться любовные приключения<sup>1</sup>.

В ходе анализа «Висрамиани» автор книги приходит к выводу, что персидский оригинал — это любовно-романтическая поэма, а его грузинская прозаическая версия — роман.

Казалось бы, это ясно и без лишних доказательств, но дело в том, что за последние годы интерес к «Висрамиани» сильно возрос, были высказаны различные суждения относительно идейного замысла поэмы Горгани. Так, например, известный иранист Е. Э. Бертельс считает, будто она написана человеком, враждебно относящимся к феодальному замку. И. С. Брагинский и М. И. Занд характеризуют «Висрамиани» как сатирическую поэму, автор которой якобы высмеивает высшие слои феодальной аристократии с позиций горожанина.

А. Г. Барамидзе же доказал, что поэма Горгани никак не сатира на феодальное общество. Хотя «Висрамиани» и вскрывает недостатки этого общества, само произведение не носит антифеодального характера. Напротив — в нем обрисован идеальный феодальный быт, воспет идеальный придворный круг. Социальные и нравственные идеалы поэта получили достойное отражение в образах Вис и Рамина. Воспев их любовь, он обессмертил эти образы.

Если бы этот памятник был сатирой на феодальное общество, автор пошел бы дальше придворного круга и обрисовал других представителей феодальной аристократии в тех же тонах, в каких представлен престарелый шах Мобад. Однако этого не произошло, ибо Горгани не является врагом феодальных замков, он желает лишь, чтобы ими правили достойные властелины, способные навести порядок в мире. Таковым он считает Рамина, которому и вручает престол.

Рассматривается в этом томе и вопрос о жанровых особенностях произведений древнегрузинских одописцев «Абдулмесани» и «Тамариани». В результате строгого научного анализа автор определяет «Абдулмесани» как единую, пространную поэму-восхваление (поэму — условно), а «Тамариани» — как сборник отдельных мелких панегирических стихов (хотя каждый из них выражает одну законченную идею и по содержанию они едины).

Касаясь «Вепхисткаосани», ученый мастерски опровергает мнение академика В. Жирмунского, который в жанровом отношении считал возможным поставить поэму Руставели в один ряд с «Шахнаме» Фирдоуси, определяемый А. Г. Барамидзе как героический национальный эпос, с которым поэма Руставели сближается по героическому настроению, по своему же романтическому духу она близка поэмам Низами.

Уточняя определение профессора А. Чагарели, он справедливо причисляет «Вепхисткаосани» к романтико-героической или, точнее, героико-романтической поэме. И рассуждения о том, что поэма Руставели является стихотворным романом, нам кажутся излишними.

В научной литературе хорошо известны заслуги А. Барамидзе в исследовании и публикации грузинских версий «Шахнаме». В частности, его статья «Заметки по поводу грузинских версий «Шахнаме», опубликованная в «Архиве Грузии» в 1927 году (т. III, с. 62—96), явилась эталонной для того времени и во многом не потеряла своего научного значения и сегодня. В ней впервые был отмечен ряд новых текстов, указана фамилия поэта Мамуки (Тавакашвили), исправлена ошибка Е. Такашвили, принявшего одну из грузинских версий «Шахнаме» за «Караманиани». Эту работу цитировали в своих трудах такие ученые, как К. Келелидзе, С. Какабадзе и другие. Однако некоторые современные авторы не утруждают себя ссылкой на «Архив Грузии» при суждении о Мамуке Тавакашвили.

Такую «забывчивость» проявили А. Бакрадзе и Л. Атанелишвили, кстати, не упомянувшие и моего очерка «К вопросу о происхождении «Амирандареджаниани», впервые опубликованного в 1945 году («Литературные разыскания», т. II, с. 249—267), а вторично — в 1969-м (в книге: «Грузино-персидские литературные связи», т. II, с. 101—118).

Убедительно отвергает автор «Исследований» теории и положения С. Какабадзе об авторе «Вепхисткаосани», выдвинутые в его последней монографии («Руставели и его время», 1966).

<sup>1</sup> Вопросы грузинского языка и литературы, с. 63.

В книгу включены также очерки об исследователях древней грузинской литературы Н. Марре, А. Цагарели, Е. Такайшвили, А. Шанидзе. Касаясь тех проблем, которыми занимались эти ученые, А. Г. Барамидзе четко определяет их заслуги в изучении истории грузинской литературы, отмечает отдельные просчеты и неточности. Названные очерки создают определенное представление о деятельности этих ученых с новой и весьма интересной точки зрения.

В разделе «Листки воспоминаний» повествуется о первых годах работы в университете, а также даны воспоминания о С. Хундадзе и Г. Леонидзе.

Ряд интересных вопросов истории древнегрузинской литературы затронут также в статьях о «Висрамиани», о поэтическом мастерстве Руставели, о древней Грузии в поэзии С. Чиковани, о В. Габашвили, о византийско-грузинских литературных отношениях, о грузинском книгопечатании и других.

Все статьи и очерки сборника, написанные с большим знанием дела, с теплотой и любовью к исследуемому предмету, свидетельствуют о том, что исследование памятников грузинской светской литературы поднялось на новую, еще более высокую ступень.

Давид КОБИДЗЕ



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

### „МОЙ ЗАПОВЕДНИК“

**РАЗНЫМИ** путями приходят люди в литературу. Одни помышляют о литературном поприще еще со школьной скамьи, другие, пройдя сложный жизненный путь, глубоко осознав и почувствовав в себе необходимость писать, стремятся рассказывать о пережитом, делиться своими мыслями и чувствами.

Так пришла в большую литературу Тина Георгиевна Донжашвили — выпускница Первого московского медицинского института, активная участница Великой Отечественной войны. Тина Донжашвили была военным хирургом на Крымском, Северо-Кавказском, Третьем Белорусском, Дальневосточном фронтах.

Писать Тина Георгиевна начала после войны. Ее перу принадлежат романы,

рассказы, очерки. В новый сборник Т. Донжашвили «Мой заповедник», выпущенный издательством «Мерани», вошли рассказы и очерки разных лет, повествующие о суровых днях войны, о трудовых буднях нашей страны, о людях, умножающих славу и богатство родной земли. Это рассказ «Алые розы», главный герой которого — лейтенант медицинской службы Майя Надирашвили, рассказы «Поединок», «Рядовой Матвей Марьяхин», «Алекси и Алексей», очерк о Герое Социалистического Труда Заире Алханишвили и другие.

Нет сомнений, что русский читатель с интересом познакомится с творчеством Тины Донжашвили, с ее сборником «Мой заповедник», перевод которого выполнен Викторией Зининой.



# „ОГОНЬ В ОКЕАНЕ“



**А**ВТОР этой книги — Ярослав Константинович Иоселиани — один из самых прославленных витязей нашего флота, Герой Советского Союза, командовавший подводной лодкой в годы Великой Отечественной войны. Книги бывшего военного моряка отличаются лаконизмом, строгой документальностью, глубоким знанием темы, которую автор выбрал для повествования. Ведь перу Ярослава Иоселиани принадлежит длинный ряд книг, в которых бывший командир подводной лодки рассказывает о суровых днях вой-

ны с гитлеровцами на морях, о мужестве и самоотверженной борьбе советских военных моряков с заклятым врагом. Это «Записки подводника», «Выходим в море», «Морской ветер» и другие.

Предлагаемая вниманию читателей грузинским издательством «Мерани» новая книга писателя-героя «Огонь в океане» состоит из нескольких частей: «Детство», «Кузница морских офицеров», «Поиск и уничтожение» «Английский союзник», «Здравствуй, Родина!» и имеет во многом автобиографический характер.



Сдано в производство 2 июля 1975 г. Подписано к печати 3 сентября 1975 г.  
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 80×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Заказ 2709

Тираж 4000

УЭ 12045

33-1975

75-638

ბიბლიოთეკის  
ნიშნობები

Цена 40 коп.

ИНДЕКС  
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ  
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა